

ПЕТР БАЛАКИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ

и другие рассказы



С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й
П. П. Б А Л А К Ш И Н А

Р А С С К А З Ы

Т о м III

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ъ С Т В О С И Р И У С
Сан Франциско — Париж — Нью Йорк

RETURN TO THE FIRST LOVE
by Peter Balakshin

By the same author

A TALE OF SAN FRANCISCO
SPRING OVER FILLMORE

В том же издательстве:
ПОВЕСТЬ О САН ФРАНЦИСКО
ВЕСНА НАД ФИЛМОРОМ

Все права сохранены за автором

1952

ОГЛАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТОМА

I.

1. Два ангела	7
2. Весна	9
3. Дневник организатора	15
4. Портреты в портсигарах	26
5. Зальцман	33
6. Комиссар Крыленко	42
7. Групповые фотографии	48
8. О чем говорят на вечерах	56
9. Из семейных анналов	61
10. Воспитатель	68
11. Этюд Дебюсси	70
12. Два монолога	73
13. Седые легионы	76
14. Трактат о медицине	85

II.

15. Таял глетчер	94
16. Любовь к ближним	96
17. Слеза	102
18. Сила привычки	105
19. Отдайте моего ребенка	108
20. Не было еще случая	113
21. Голубая Падь	116

22. Дилижанс из Рима	.	.	.	120
23. Американская трагедия	.	.	.	128
24. Скульптурное искусство	.	.	.	133
25. Лучшая из всех	.	.	.	138
26. Братец из города	.	.	.	142
27. Совсем, как в кинематографе	.	.	.	148
28. Под сенью гения	.	.	.	257

III.

29. Золотое руно	.	.	.	167
30. Родина	.	.	.	170
31. Сорок часов	.	.	.	175
32. Рождество в Сеуле	.	.	.	188
33. Одиночество	.	.	.	195
34. Крутится, вертится	.	.	.	206
35. Свет и тень барельефа	.	.	.	211
36. Васка да Гама	.	.	.	218
37. В погоне за вишней	.	.	.	240
38. Не узнаете?	.	.	.	254
39. Возвращение к первой любви	.	.	.	259

II

Два Ангела

Вместо предисловия

Большая часть вещей, появившихся в этом сборнике, была помещена в зарубежных изданиях и, глазным образом, в двух моих газетах, "Русские Новости" и "Русские Новости-Жизнь", которые я издавал в Сан Франциско в тридцатых и сороковых годах. Большинство из них было скрыто под псевдонимами, из них наиболее частым был Жак Чужак.

Готовя свои вещи для Издательства Сириус, я колебался, выпускать или нет этот сборник, а если и склонялся, то представлял сделать это под заглавием "Вещи, написанные левой рукой", что мне казалось вполне соответствующим духу и форме этих коротких рассказов и статей.

Часть вещей, напечатанных в зарубежных изданиях, пропала бесследно, и у меня, несмотря на щепетильную аккуратность, касающуюся правда только своих бумаг, не осталось даже черновиков для их восстановления. Писатель, пожалуй, так же грустит, как библейская мать, гастролевшая своих детей по свету. Но значительную

часть, в газетных вырезках, в неоконченных ве-щах, в набросках, сделанных на старых конвертах и типографских счетах, в заметках и разго-ворах, схваченных налету, т. е. все то, что является хорошо унавоженной писательской поч-вой, я захватил случайно с собой в свою за-границную службу, где и таскал по аэропланам, поездам, пароходам по всему Дальнему Востоку.

И вот теперь, в это лето, десять-пятнадцать лет спустя, в иной обстановке и в иные дни, вдали от того, что порождало и давало жить типам и характерам этих малых вещей, вдали от самой сцены, на которой они появлялись, приковывая к себе мое внимание, я наконец добрался до дна чемодана и быстро просмотрел этот ворох уже почти отвыкшими глазами — и внезапно подумал не только о левой руке, но и о плечах, на которых, по выражению В. В. Розанова, сидят ангел смеха и ангел слез.

Это утвердило меня в решении выпустить и этот сборник, третий том своих сочинений, как дань отрезу времени, не исчезнувшему бесследно, так и тому, что породило планы для крупных вещей.

Август, 1951
Нагоя, Япония

Весна

Чирикают возбужденно воробы, но и так все знают, что над городом весна. Знает об этом и дантист Зудерман, высовываясь по пояс из окна своего кабинета и глядя то на небо, то на улицу внизу.

Зудерман ведет Клавдию Ивановну в “Золотой Петушок”. Ведет один вечер, ведет второй. Клавдия Ивановна любит атмосферу “Петушки”, любит поджаренный сандвич из ципленка, маренги. Зудерман это хорошо знает. Он покупает ей у входа бутоньерку и сам прикалывает ее. Клавдия Ивановна — теперь она Клавочка — кладет на плечо голову и широко улыбается. Дантист тычет булавкой в отворот пальто и заглядывает профессионально в зубы. Клавдия Ивановна поспешно закрывает рот и улыбается только ямочками.

Дантист задумывается на секунду и прикидывает в голове: “Золотой Петушок”, сандвичи, мороженое, маренги... За такой рот можно было бы взять... Счетчик в его голове делает несколько оборотов и с легким звоном деловито выкидывает подсчитанную сумму. Зудерман

только крутит головой !

Надо, наконец, понять друг друга, договорится — Зудерман любит выражение “вплотную” — и придет к чему то !

Но Клавдия Ивановна — она опять Клавочки занята другим... Какой прекрасный вечер, как восхитительны весной улицы, какой чудный магазин, как нарядны витрины, в которых играет отблеск красочного заката ! Весна !

Зудерман и сам знает, что весна ! Ему весной не по себе. Три четверти года он стоит за креслом, не выпуская из рук бор-машины, и приглядывается пристально к чужим дуплам. Пора наверстать время !

У Клавдии Ивановны воспоминания и мечты... Сирень, акации, нежная зелень ранних листьев... Вот скоро время переезжать на дачу !

У Зудермана тоже воспоминания, но они не владеют им так, как ею. У него они строго делятся на две группы : неодушевленную и одушевленную. Первые не страшны : березы, листья... Трепет, робкое мерцанье... Это он и сам не прочь вспомнить !

Клавдия Ивановна восклицает : вот такое манто, да на голубой подкладке ! Да еще маленькую собачку, точь в точь, как была у ней в Одессе !

Зудерман настороживается : он сам был в Одессе значительное время, чтобы верить во что бы то ни было ! Кроме этого, он всегда на стороже, когда дело касается воспоминаний одушевленного класса ! Он человек фактов, конкретных форм. Он чуть отступает и не скидывает,

а ошаривает взглядом спину и ноги Клавдии Ивановны.

— Конкретные формы? — заинтересовывается она. — Да, так о чем же формы?

Зудерман прикрывает голубой выкаченный глаз и начинает быстро вертеть ручку счетчика в голове: “Золотой Петушок”, раз, два, да еще столько же; чаевые, правда, весьма скромные; бутоныерки, флакон духов — минус и плюс, так как в аптеке дантистам скидка!

— Да, так формы! — напоминает еще раз Клавдия Ивановна.

— Формы! — говорит себе Зудерман, внутренне выпячивая грудь и вскидывая голову. Он делает округлое движение рукой и наклоняется выжидательно к ней. Движение его означает: дамы вперед!

Клавочка кладет голову на плечо, мечтательно щурит глаза, принимая рассеянное выражение, и теряется в счастливом смехе... Вот такое манто, да на подкладке ее цвета (Клавдия Ивановна вся дымчато-голубая!)... и собачку, вроде той, что в Одессе!...

Зудерман положительно ничего не слышит, трудно говорить на улице, особенно, когда хочешь договориться вплотную (здесь он опять перебивает свои мысли); гудят автомобили, дребезжат трамваи как раз тогда, когда хочется, чтобы было тихо, как в храме! Он даже показывает на ухо: захватило, как у простуженного, положительно ничего не слышно! При том в голове гудит моторчик зудермановского счетчика.

Он делает другой жест, тоже круглый, но

уже ни от себе, что означает, что разговоры закончены, приступим к бесболезненному извлечению корней. Для пущей убедительности и твердости он берет ее под локоть. Он делает общее вступление о листьях, весне, закатах, и тот час же сбрасывает все это, как не имеющее прямого отношения к делу.

— Вот он мог бы... починить ее мужу зубы...

Он слегка раскрывает голубой глаз, но тотчас же спешит прищурить его, чтобы он не выкатился далеко из положенного места, и еще раз для верности прикидывает счет: какие нибудь там пять шесть пломб по два доллара, извлечение корней бесплатно, небольшой мост, зуба на три, не больше, мост, работа, материал, сталь ныне в большом ходу чем золото. В среднем три зуба на мост по столько то... Бегут спешно колесики счетчика... Весна будет длиться еще два месяца, а там опять кресло и бор машина в руках. Счетчик крутит диски и с легким удовлетворенным звоном выскакивает итог.

— Да, так вот имеется твердое предложение...

— При чем же тут муж, — она, теперь опять Клавдия Ивановна, — и его зубы !

Впервые за весь день ее голос становится трезвым: действительно, "Зуберман"! Ему бы все переводить на зубы !

Она чувствует, что воздух делается холодным, закат уже тухнет и сейчас похож на выляневшее муаровое платье; ветер чем то рассмешил на-лету деревья и они затряслись листьями. Делается совсем холодно...

Но Зудерману не до вечерней перемены в

температуре. Ему по прежнему тепло, он даже растегивает пальто и отодвигает на затылок шляпу.

— Почему же и нет!? — изумленно спрашивает Зудерман, останавливаясь и поворачивая ее лицом к себе. — Действительно, почему?

Он наклоняется к Клавдии Ивановне и начинает объяснять теорию экономического обмена: мебель его кабинета, покраска, починка часов, вот этот костюм с двумя парами брюк, все это в обмен на лечение зубов и извлечение корней. Конечно, слов нет, иногда получается некоторая натяжка, когда товар (это он произносит так, что Клавдия Ивановна поднимает голову и вопросительно смотрит на него) не совсем однородный, но при эластичности теории обмена и допустимой свободе интерпретации... Конечно, можно еще что нибудь прибавить, ведь это только остав его предложения...

Клавдия Ивановна молчит, пока Зудерман доводит ее до дома. Молчит и Зудерман, бережнее держа ее под руку. Хороший дантист никогда не позволит сверлить зуб больше, чем надо, особенно, если близко нерв. В следующий раз он порешит все твердо к обоюдному удовлетворению.

Зудерман прощается с Клавдией Ивановной и пытливо заглядывает ей в глаза. Его взгляд говорит: все в порядке, "Золотой Петушок", сандвичи, маренги...

Клавдия Ивановна исчезает в дверях, но сбиженное выражение остается на ее лице.

— Знаешь, Котик, — говорит Клавдия Иванов-

на вскользь, стоя у зеркала со шпильками во рту, — почему тебе не привести в порядок свои зубы? Многие хвалят этого Зудермана. Я его, правда, не знаю, но говорят, что как дантист...

Котик только что завел грамофон и теперь стоит с пластинкой в руках. Он приподнимает мембрану, кладет пластинку, и только тогда поворачивается к ней лицом с удивлением и интересом, пока раскручивается пластинка, чтобы запеть под затейливый балалаечный перебор “Что мне горе”.

Апрель, 1939
Сан Франциско

Дневник организатора

27 Января.

Все наиболее важные события моей жизни случаются именно в это число. Только настоящий организатор, вдающийся во все мелочи, может понять, сколько взяло времени, забот и способности организовать все это! Но не даром талант организатора отмечен во мне; глядя на проплывающий мимо город, с гордостью могу сказать, что благодаря ему я так решительно кладу начало новой жизни, которой, бесспорно, суждено будет в свое время стать классическим примером блестящей организованности.

Но не следует увлекаться ни рассуждениями, ни любованием панорамой города, сходящему с горизонта моей жизни (выражение удачно схвачено, говорит о громадном масштабе, да это, и естественно!). Как истинный организатор, я должен во всех проявлениях жизни намечать, ставить, строить стройную систему организованности. Поэтому я и излагаю все в строгой последовательности.

События в Южной Америке, война между

двумя республиками заставили меня оторваться от той толщи жизни, в которой я вращался. Я эмигрант, человек старшего поколения, которому суждено пронести светоч жизни, убереженный от посторонних хватаний, дабы его пламенем возжечь новую жизнь на старых проверенных путях. Я — хотя лучше направить всех интересующихся моей деятельностью к многочисленным протоколам заседаний в главных местах русского рассеяния, как наиболее ярко и выпукло представляющих о характере моей работы.

Дальнейшее исследование открыло, что армей одной из республик командует бывшей русской службы генерал Ежов, не тот что под Балаклавой, а другой, Ежов младший.

Два письма, для верности посланные обеим республикам, носили все признаки того, что я про себя называю “организованным таллейранзом”. На имя генерала Ежова младшего, помимо того, что я писал в другом письме, я упомянул о том, что, отвергнув неоднократные приглашения другой республики, я хотел бы самым фактом служения под его благосклонным началом подтвердить свое неприязненное отношение к противной стороне. Коснувшись краем тех блестящих возможностей, каковые определяются сразу, бросив мгновенный взгляд на карты театра военных действий (мгновенный в том смысле, что другой не увидел бы и в сто лет!), я довольно обширно указал на свои организаторские способности, оценить которые лучше всего может только будущий историк,

лишенный пристрастности современника, а главное — зависти (ах, это человеческая слабость!)

Два месяца спустя я получил приглашение от консула республики, одной из армий которой командует генерал Ежов младший. Получив часть подъемных и инструкцию немедленно отправиться, недостающую сумму я испросил у некоторых русских организаций, активным работником которых я состоял. Вследствие важности моей поездки, об отказе не могло быть и речи.

Перед отъездом были устроены проводы, банкет, речи, все очень мило, ничего нельзя сказать. Но должен заметить, что как растроган я ни был во время банкета, все же я не мог смотреть на них без жалости и грусти. То, что ждало их, увы, было так мелко и безинтересно! Боюсь, что ироническая улыбка не сходила с моего лица. Да и действительно!

Вот я отправляюсь в Южную Америку, в новые страны, перед мной открываются широчайшие возможности. Если послушается меня Ежов младший, то я смогу обхватами флангов нанести неприятельское поражение; могущее затмить славу Канн и Тайненберга. А те возможности, которые так нуждаются в планомерной организаций! Я не преминул познакомиться, правда, пока бегло, с минеральными богатствами страны, наличием золота, но, главным образом, серебра...

И так вот смотрел я на них с иронической улыбкой и думал. Что-ж было у них впереди? Не характерны ли так для них все эти "рус-

ские уголки", где всегда один и тот же малороссийский борщ, котлеты, малосольные огурцы! Конечно, я не позволил себе поддаться этим эмоциям, хотя и было грустно за них. Получив собранные деньги, я просто пожал им руки на прощание в знак безмолвного сожаления.

В иллюминаторе чуть еще мигают огни города. Впереди, как красиво сказал поэт, "неведомые дали"...

29 Января.

Морское путешествие является лучшим отдыхом, на которое должен был расчитывать и я за все годы общественного служения в первых рядах (а не где то там!) эмиграции, хотя другие (о, Боже, и сколько их!) об этом совершенно не думают. Им, очевидно, не приходило в голову, что чем больше в человеке способностей, чем разнообразнее они, тем тщательней надо оберегать этот, как бы выразиться, драгоценный суд (эффектная мысль! — афоризмы получаются у меня чаще и чаще!)

Но не такой я человек, чтобы проводить целые дни на палубе, слоняясь без дела. Человек организации, волевой, смотрящий вперед, я не расходую времени по пустякам. В письме генералу Ежову младшему я указал на те необходимые штаты, без которых нечего и думать о начале той широкой, всецело мною задуманной работы. Я должен был подобрать людей здесь, но за отсутствием времени не успел, что пред-

полагаю немедленно сделать на месте. В конце концов, дело не в людском составе, а в опытном организаторе. Что-ж штаты? Конечно, я не выехал один. Со мной секретарь Петр Александрович Жуков, прекрасный молодой человек, которого вне службы я называю запросто Петей.

Затем, как настоящий организатор, я не мог не позаботиться о, так сказать, интимной стороне жизни. Ее звать Евгения Ивановна Любимова-Залетаева, она оперная артистка, временно очутившаяся без сцены. Насколько деликатно я подошел к ней, можно судить по тому, что выслушав меня, она только спросила — “а куда ехать?” — и сразу же согласилась.

Я не касаюсь ее прошлого, кто из нас не имел его? Отнимите его, и у нас не будет будущего (еще один афоризм!). Как деликатный человек, я не хотел касаться этих наболевших струн даже такими чуткими пальцами, как мои.

Предусматривая все, я не упустил и другой стороны жизни. Это вопрос питания. Где же там, в пампасах, заботиться потом об этой важной стороне жизни! Я и пригласил (а не как в то время говорили — сманил!) заведующую кухней ресторана Москва, вдову Молоховец. Мало того, что она носит эту славную фамилию, она самой составительнице знаменитой поваренной книге, выражаясь фигурально, утрит нос.

Целые дни работаю над планами и заметками, разрабатываю сложную систему снабжения армии и некоторые гражданские мероприятия.

Евгения Ивановна проводит с Петей все время на палубе. Вдова с утра до позднего вечера

сидит с подветренной стороны кухни (очевидно, сказывается профессиональный навык).

4 Февраля.

Приближаемся к экватору. Жара страшная. Женя проводит на палубе и ночи. Говорят, что завтра при пересечении экватора будет посвящение **морскому** богу. Когда мне сказали об этом, я равнодушно пожал плечами, пусть думают, что пересечь экватор для меня такая же простая штука, как пересечь город в метро.

После обеда капитан и старший офицер несколько раз прошли мимо меня, как то странно посматривая. В чем тут может быть дело?

5 Февраля.

Нарядили меня Нептуном, всунули в руки трезубец и привесили седую бороду. Петя, увидев меня в этом костюме, положительно катался от смеха. Он почему то приставил пальцы к голове, как рожки, и, показав это Женечке, смеялся так, что никто не мог удержаться от смеха. Что он этим хотел сказать — не знаю.

Я и здесь проявил свои способности, организовав программу. Петя оказался недурным танцором. Женя пела, она оперная певица, правда, она пела довольно странные вещи, но никто из публики не понимал по русски.

Собранные за программу деньги я записал на

приход и передал для хранения Петру Александровичу Жукову.

Подвигаемся к тропику Козерога. Петя сочинил какой то каламбур, я, по правде сказать, не вдался в смысл, но Женя очень смеялась.

9 Февраля.

Приехали. Завтра являться по начальству. Наскоро просмотрел свои записки, схемы, планы: завтра все обстоятельно доложу. Хотел бы начать организационную работу без всяких промедлений.

Оказывается недалеко имеется русское поселение. Называется Новая Волынь. Интересно. Чрезвычайно интересно. Не надо упускать из вида!

10 Февраля.

Ежов младший оказался странным, если выразиться мягко. Если я говорю "мягко", ясно, что я хочу сказать! Явился я честь честью, портфель, выкладки, заметки. Сразу с места, даже не взглянув на бумаги, спрашивает — "где ваши люди?" Станный вопрос! Не мог же я сказать ему, что со мной Женечка и вдова Молоховец. Сказал, что при мне адъютант. Объясняю, что как опытный организатор, я на месте организую все. Пусть только мне отведут соответствующее помещение и дадут материал,

даже сырой, не важно ! А уж развернув штаты, я смогу приступить ко второй фазе работы, т. е. к разработке широких обхватов флангов. “Каких это флангов” — спрашивает. Как каких — Канны, Танненберг ! Но это, говорю, еще впереди. Во второй фазе. А про себя подумал — еге, не стоит ему сразу открывать все козыри ! Пока, говорю, мне нужно бы отвести соответствующее место. “Какое — так же грубо спрашивает, — отвести вам место ? Вам отвести...” и тут сказал совсем нетактичное слово. Даже закричал на меня ; хотел было я сказать ему, что не привык, чтобы кричали на меня, да что с него, как с гуся вода ! Но как только напомнил о деньгах, что причитаются мне, как подъемные на все штаты, он даже побагровел и пристукнул ногой. Подумаешь — десят лет в Южной Америке, и такой южный темперамент, такой порох ! Ежов младший — южно-американец ! Вот уж по истине ирония судьбы !!!

Тогда я ему так тонко намекаю, что в таком случае может быть другая республика заинтересуется моими планами. “Я вас заставлю отработать те деньги, что вы получили на основании ложно представленных фактов”. Так и сказал — вот, действительно, порох — вспыхнул ! Я, конечно, сразу же покинул его ставку. Что он думает, что Ежов младший, так может кричать ! Пусть ка он лучше просмотрит протоколы заседаний в местах русского рассеяния. Тоже !

11 Февраля.

От такого, как Ежов этот прославленный, все можно ждать. Из комнаты не выхожу, не поднимаю штор, правда, на улице жара. Два раза на улице проходили солдаты, по взводу, не больше. Оба раза говорил вдове, что если будут спрашивать, все равно кто — нет дома, где — неизвестно !

Женечка с Петей целые дни проводят в городе. Подумываю серьезно о Новой Волыни.

13 Февраля.

Петька Жуков оказался жуком, мало того — негодяем, мерзавцем и подлецом ! Если он всплынет в каком либо месте русского рассеяния (такие всегда всплывают!), пусть он отсчитается в тех деньгах, которые присвоил себе. Там были остатки сумм, полученных от организаций и то, что я собрал при пересечении экватора.

Скотина ! Казнокрад и конокрад !!!

14 Февраля.

О ней больно говорить...

15 Февраля.

Можно уничтожить женшину, но осуждать ? !

Говорить о ней не могу !

16 Февраля.

Проектирую устроить твердую организацию в Новой Волыни. Ничего похожего на какую либо организованность там нет. Странные люди, как могут так жить ! Пишу уставы для нескольких обществ сразу.

18 Февраля.

Рана еще не зажила, но уже могу говорить о ней. И вовсе она не оперная певица Любимова-Залетаева, а шансонетка Женька Амурова. Теперь припоминаю, в Ростове-на-Дону была каскадная певица, мадемуазель Амур. Она и есть ! Теперь многое открывается, и пение ее и все поведение на пароходе. А я то боялся затронуть какие то ее натянутые струны !

А подлеца этого видел последний раз на улице Святого Бонифация (покровителя идиотов!!!) Шмыгнул в какой то дом и след простыл.

19 Февраля.

Заканчиваю спешно устав кооперативного общества для Новой Волыни. Завтра общее собрание. Только бы собрался кворум !

20 Февраля.

Негодую и мечу громы — трам, трам, трам !!!
Новая Волынь оказалась старой волынкой.
Спешно ищу выхода.

27 Февраля.

На улице Святого Себастьяна, недалеко от улицы Бонифация (покровителя — хотя это не важно !) открыл “Русский Уголок”. Чисто, симпатично, уютно. Нюша (бывшая мадам Молоховец) готовит. Прекрасное меню, даже решил записать на память: малороссийский борщек, малосольные огурчики, котлетки с макаронами, чай, кофе. Сейчас садимся обедать, пока еще никого нет.

Февраль, 1933
Сан Франциско

Портреты в портсигарах

ПЕРВЫЙ ПОРТРЕТ

Утром мимо зеркальных витрин конторы проходят шумной толпой школьницы. Среди белых лиц много цветных — желтых японок и филиппинок; отдельными группами из ближайших негритянских кварталов идут негритянки. Они различного цвета — от бледного шоколадно-сиреневого цвета до черного, как воронье крыло.

Толстый почтальон, тяжело дыша от ноши и ожирения сердца, выкладывает на стол кипу писем, газет и журналов с марками десятка различных стран. 1939 год только что завершил свой первый месяц.

Утром в такой день входит первый посетитель. Ему лет шестьдесят с лишним. Он идет не спеша, кряхтя садится над стул, расправляет пальто, долго приспосабливает шляпу и трость, и роется в кармане пиджака так долго, что кажется, что его рука попала в западню.

Он вынимает деревянный кустарный портсигар и медленно открывает его узловатыми пальцами с крупными синими жилами. В табакерке табак

-- из трех сортов, который капитан Хлопов во время покорения Кавказа не без значительности называл "самброталическим".

Он неторопливо сворачивает сигарету, обклеивает языком, водя по конторе мутными, слегка выпученными глазами, и кажется, что вот сейчас разразится долгим тягучим кашлем, закрутит головой и помашет над нею рукой — мол, подождите...

Но кашля нет, он только выпускает с неопределенным звуком струю табака, очищает на столе место для локтей, и начинает:

— Вот вы, конечно, издаете газету. Что-же, хорошее дело. И мысль передовая, опять же кто умер или родился, про все это написано. Только вот что я скажу вам... Вы меня, старика, послушайте... Вы, конечно, молоды, учиться не у кого. Я скажу так: все это хорошо, а все-таки — не то... Прямо скажу — не то!

Он хрустит крышкой табакерки и на его лице опять появляется выражение, что он вот сейчас глухо и надрывно закашляет, но все заканчивается тем же неопределенным звуком.

— Вот вам бы так, как было у нас... Была у нас газета, тому годов сорок, а может, и более. "Завирейская Жизнь" называлась. Вирию, небось, знаете, реку такую?

— Нет, не слышал. Вот Волгу знаю, а эту...

— Ну вот, видите!... Так, вот, значит, у нас газета. Ну, как же, солидная, во всей округе только и читали "Завирейскую Жизнь". Какие были враги, так те ее, хе-хе, "Завирейской Жизнью" окрестили. И был, значит это, редактор!

Вот был редактор! Таких уже больше нет... Повывелись. Борода — вот! Росту! Плечи — вот! Бывало, войдешь в церковь: слышишь — зычный кашель, такой что, небось, глухой по-номарь на колокольне слышит! Сразу знаешь, что сама “Завирейская Жизнь” стоит. Вот так — полицмейстер, так — попечитель, так — не впереди, не позади — редактор. Борода надушена, щеки — что тебе яблоки, осанка... Куда теперь перешним! Теперь какие при газетах — все народ жидкий, хлябкий, вихлястый... Сморкался он вот тоже внушительно, так солидно все. А строгий был! У-у! Бывало, возьмется за кого нибудь, все молодых выбирал, какие еще не-стрелянные, из гласных и чехвостит его, чехвостит. Да все печатает черненьkim, чтобы повиднее. Как пропечатает, что, мол, на чистую воду надо вывести, тот аж взмолиться готов. А неопытный сам! Наконец, кто сжалится над ним и скажет ему — “вы бы, вот, Евстигней Порфирьевич, ему в стуколку рублей сто проиграли, авось, отстанет тогда”. Ну тот ему в собрании и продуэт, смотришь — газета за кого другого уже взялась! Это был редактор, теперь таких в жизни не найдешь! А либерал какой — такое уже их положение — огромнейший был! Играть в винт садился до вечерни! И ничего, знаете! Ему даже архиерей — о благочинном и говорить нечего! — ничего не мог сказать! Свяжешься с таким, потом играй с ним в стуколку!...

Рассказчик увлекается. Он открывает табакерку и насыпает на бумажку “самбраталический” табак. За стеклами витрин быстрая, кипу-

чая жизнь, скрипят трамваи, автомобили. Рассказчик обводит мутными глазами стены, делает длинные паузы, чтобы прокашляться. Вирея, Вирея, вирейцы, Вирейск, "Вирейская Жизнь" — все это, наконец, принимает длинную, неопределенную форму, словно верещит ровным, унылым звуком нескончаемая гусеница...

ВТОРОЙ ПОРТРЕТ

Хотя от двери до стула всего несколько шагов, но он делает такое количество движений, раздувая полы своего широкого пальто, что контора вдруг делается страшно тесной.

Он неопределенных лет, ему можно дать тридцать, сорок и пятьдесят. В старое время такого почему то называли "мышинным жеребчиком". Он садится на стул, но не мягкою частью тела, как все, а на поясницу; закидывает высоко ногу и отодвигает на затылок шляпу с маленькими полями и пером за лентой.

Неопределенного цвета камень на его руке и ультра пестрые, особого рисунка, носки дают повод думать, что перед вами сидит эстет. Он нетерпеливо барабанит по столу короткими пальцами; выуживает из кармана портсигар и утонченно шикарным движением небрежно бросает его на стол. Вытаскивает связку ключей и так же вываливает их на стол. Еще дальше откидывается на стуле и выше поднимает ногу

с художественным носком. Теперь кажется, что он сидит уже на лопатках. Он стучит пальцами по крышке портсигара, усеянного многочисленными монограммами и значками. Шикарным движением засовывает руку за край жилета. Вы теперь видите, что на нем подтяжки и пояс. Вы знаете что перед вами человек с раздвоенной личностью.

Постучав пальцами, он отщелкивает крышку портсигара и вытаскивает сигарету с пробковым наконечником; исключительным, особым движением, обведя перед этим языком губы, он подносит сигарету ко рту. Смотрит на вас выразительно и как то вдаль, словно на нем дымчатое пенснэ, из тех, что носили львы из летнего сада. В глазах рассеянность и поволока. Крышка портсигара открыта и оттуда смотрят на вас надписи: "Твоя Ольоль", "Помнишь волшебную ночь?", "Муха", "Вовке от Вавки" и множество других. Монограммы вкось и вкривь испещряют крышку, они прыгают через сердца и якоря, пе рекрещенные сабли и штабс-капитанский погончик.

Он глубоко затягивается, раздувая при этом ноздри насколько позволяет ему кожа широкого плоского носа. Голубое облако египетского табака прорывает еще висящую в воздухе "самбраталическую" завесу. Он поворачивается и говорит:

— Вот вы издаете газету... Что-ж, дело хорошее... Но вот что-то такое, как бы вам это сказать, э-э, так сказать, э-э...

Он освобождает лопатки и передвигается на

кобчик.

— Была у нас газета... Я только к слову сказать, чтобы вы могли обратить внимание. Я, конечно, не поучаю. Ни-ни. Отнюдь нет! Но вот у вас э-э-э, как бы сказать, не хватает... — Он щелкает пальцами, вскидывает болезненно бровь и в то же время раздувает ноздри, но второе движение не получается, так как весь запас кожи на лице идет на лоб.

— Нет в газете у вас эстетики. Чистой эстетики. Вот что! У нас в газете этот отдел был вот так поставлен! Вот так! На ять! Публика прямо зачитывалась! А вела его такая поэтеска, Варвара, я уж не помню, как дальше. Мы ее все по-товарищески — Вавкой звали! Конечно, и я помогал. Скромно так. С достоинством! Знаете это, у-у-у! — он надвигается совсем на стол, — да вот это: “О, закрой свои бледно-лиловые ноги!” — Знаете? Как же, вся Россия в этом! Так у нашей поэтессы еще лучше вышло, — она переделала это, ну прямо замечательно! Вот сейчас не упомню... жаль... “О, закрой”, как то там дальше, уж так сказано было красиво... Теперь этого уже нет...

— Ног?

Он вскидывает бровь и отвечает: — Нет, того времени! Эпохи, чорт бы побрал! Жизнь какая была красивая, ай, яй, яй!

Он качает головой и закрывает глаза. Долго, с мучительно поднятой бровью, стучит пальцами по строке на крышке, — “сияла ночь восторгом сладострастья”...

— А вот еще, — продолжает он, проводя ру-

кой по лбу, как бы от сна,— “шампанское в лилию”. Как гениально было переделано! Да, как!? Прямо потрясающе чудесно! Мы даже ей в летнем саду чуть не в роде адреса поднесли за ее служение искусству...

Эстет с газеты перескочил на оперетку, Мусю Альскую...

За окнами идет кипучая жизнь. Позади стучат наборные машины и раскатывается на рельсах пресс. Автомобильное радио кинуло с улицы несколько слов о последней речи из Германии. Солнце клонится к крышам. Скоро пойдут домой из школы ученицы. У них различного цвета лица — белые, желтые, шоколадно-сиреневые и угольно черные.

Февраль, 1939
Сан Франциско

Зальцман

Волосы Зальцмана падали на лоб, поминутным движением он снимал и снова вскидывал на широкую белизну переносицы пенснэ. Он обращался ко всем, тыча полуотпитой рюмкой, раскланивался, и говорил — “нет, это удивительно! Я впервые в артистической компании. Это просто удивительно!”

Гасли огни, оставались гореть только красные колпачки на столиках; Светозаров кричал кому то в полутемном, в сквозную пропасть коридора — “готово”, и в открытую дверь вылетал, замирая на мгновение, Пашка. Уже отдрожали положенное время вступительные аккорды лезгинки, и выпрямлялась и лилась Нагурская, и Пашка, откинувшись перетянутым корпусом назад, раскидывал руки и, пройдясь гоголем, начинал танцевать. Он вздыпал широкими рукавами и полами черной черкески, как гибкая птица реял и вился над полом, и синие язычки прыгали на рукоятках кинжалов, веерами зажатых в его руках.

Зальцман напирал на стоящих впереди него, он наваливался на них всем своим телом, клал

на их плечи руки и тяжело дышал. Он был вне себя от восторга, и он повторял — “нет, только подумать — какой удивительный казак! Это что-то поразительное!”

Пашка поочередно подносил кинжал за кинжалом ко рту, зажимал между зубов их острия: мелькали тощие, обутые в чувяки, ноги, как крылья веяли в воздухе широкие рукава черкески. Последний кинжал, описав синим пламенем дугу, врезывался с хрустом в пол, Пашка замирал на мгновение, раскланивался, вскидывал руку к заломленной на затылок папахе с малиновым верхом, и убегал за дверь. Зальцман напирал на толпу, расталкивая и работая локтями, спешил к двери. Он уже шатался, его лицо было возбуждено, ему хотелось ближе увидеть Пашку. Пашка выходил на аплодисменты, на оглушающий крик Зальцмана — “бис, бис, браво!” и, вскидывая рукавом черкески, делал ручкой публике. Зальцман подходил к нему, он держал перед собой сложенные ковшом руки, прижимал их к груди в наплыве чувств, и говорил: “нет, это просто удивительно!... Я весь в восторге!... Позвольте представиться — Зальцман, Генрих Карлович... Инженер-механик. К нашему столу, знаете, я сегодня в артистической компании”...

Зальцман пробирался через толпу, бережно придерживая Пашку за талию, за узкий в серебряном накладе поясок. В зале дали свет, но в публике закричали — “не надо света, так хорошо”, и на середину паркета вышел Светозаров. Он был в шелковой рубахе, широких малиновых

шароварах и зеленых сапогах — вечер был цыганских настроений; он поднимал руки, пожимал плечами, щурил глаза и ходил мелкими шашками, не отрывая от пола подошв. Он старался перекричать публику, вскидывал руками, жеманничал глазами, но гул голосов, звон посуды, взрывы смеха заглушали его.

— Господа, господа, минуточку!...

— А сейчас, если позволит уважаемая публика, мы попросим маэстро, — и Светозаров круто поворачивался к углу, подавал туда актерски-величественно знак, и на эстраде два курчавых гавайца и выкрашенная в огненно-рыжий цвет белая женщина наклоняясь над лежащими на коленях гитарами и юкалейла, выдергивая из инструментов тягучие звуки, и шестьдесят пар эпилептиков, тщательно скрывавших до этого признаки своего тяжелого недуга, поднимались со своих мест и, раскачивая в ритм музыки телами, начинали танцевать. Они шуршали и топали ногами по паркету, скользили и бежали в прыжку, поднимались на носки и прихлопывали каблуками. Они размахивали крепко сцепленными в пальцах руками, дергали локтями, мужчины играли пальцами правых рук на спинных хребтах своих дам, словно это были грифы контрабасов или клапаны саксофонов; выражение решительной сзабоченности не сходило с их лиц, ставших сразу красными и потными.

Один из гавайцев выше закидывал курчавую голову, и пел в потолок, в тяжелые волны табачного дыма, и его звуки, глухие, гортанные и захлебывающиеся, доплывали до Зальцмана и

глубоко трогали его сердце:

Ему хотелось быть особенно приятным для всех, он был безгранично вежлив и учтив, он тянулся через весь стол и говорил Пашке:

— А вы знаете, мы с вами почти земляки. Я по линии Мамонтоых, Шаповаловых и Устря-хинных тоже происхожу от казацкого войска...

Он врал из желания сделать приятное Пашке, — он был настоящим остзейским немцем и он оставался таким, белый, мясистый, с добрыми голубыми глазами на крупчатом лице. Пашка играл желтыми маслаками скул и важно приговаривал:

— Как же, как же!

Зальцман чокался с ним, он приглашал всех выпить — ну, за искусство!

Он снимал пенснэ и глядел близорукими влюбленными глазами на Пашку, он нагибался к нему и безукоризненно вежливо спрашивал:

— Простите... я боюсь, что не совсем уловил ваше имя.

— Павел, — отвечал он.

— А дальше? — переспрашивал Зальцман, вскидывая пенснэ и наклоняя голову к нему.

— Пашкой его зовут, — отвечала за него Аня; она отворачивалась и снова начинала следить глазами за танцующими.

Зальцман протягивал пустую рюмку Самокатову и говорил:

— Эх, так и быть, еще одну за артистическую компанию!

Но Самокатов не замечал подставленной рюмки, он оттопыривал брезгливо нижнюю губу и раз-

водил в неудовольствии руками. Он захлебывался словами и говорил: —

— Что-ж Мережковский! Вы, вот, говорите, так сказать, о его пути исторического романа! Ну, пусть, я, так сказать, согласен с вами, если вы внесете существенную поправочку-с, что он, так сказать, компилятор исторических фактов! Существенную поправочку, и только!... Ну, а Алданов?

Самокатов совершенно вбирал голову в плечи, лицо его морщилось, оно было полно отчаяния, и он говорил:

— Алданов!?! Он пишет Девятое Термидора, он ведет пьяную, так сказать, компанию на колокольню и он ничего не говорит о самом Термидоре. Дальше! Он говорит о Заговоре и, так сказать, останавливает читателя у закрытой двери, за которой и происходит заговор. А его, так сказать, мнение о Суворове!!!

Самокатов приходил в полное исступление, он еще больше выпячивал нижнюю губу, с нее летели, как из пульверизатора, мелкие пузырьки слюны, он совершенно задыхался и захлебывался, и его можно было разобрать только тогда, когда он говорил “так сказать”.

Зальцману было неловко, он все еще держал пустую рюмку перед Самокатовым, и ему казалось, что все смотрят на него и видят его смущение. Он наклонялся к Ане, он не мог решиться назвать ее по имени, он полунагибался к ней и вежливо говорил:

— Мадемуазель, мог бы я надеяться на турвальса?

Пашка играл концом ее длинных бус, спадавших с ее шеи; она смотрела на танцующих, поднимала голову и искала в толпе Андрейчика, ко всему остальному она была равнодушна. Зальцман смотрел на Аню, его лицо горело, он думал, что как только гавайцы закончат играть фокстрот, он поставит граммофонную пластинку русского вальса и поведет Аню танцевать; он будет нежно и деликатно обнимать ее за талию, плавно вести ее в вальсе и, как Пашка, будет щелкать по военному каблуками на поворотах при счете “два” — он будет считать про себя: раз, два, три, раз, щелк, три! Он будет касаться тела женщины, которую он только что встретил, совершенно ему незнакомой, чувствовать теплоту ее пальцев, ее дыхание, прикосновение щеки, волос.

Еще недавно, приехав по делам в этот город и живя в нем некоторое время вне своей семьи, он позвонил у дверей с розовой занавеской на матовых стеклах с медной доской “Отель Генриэтта”. Дверь открылась и с верхней площадки горничная негритянка проговорила: “пожалуйста наверх!” Он совсем оробел и хотел уйти, но было поздно, мягко и упруго закрылась за ним дверь. Наверху, в комнате, куда провела его горничная, он еще боролся с собой — уйти, или нет! Но дверь открылась и вбежала женщина в комнату, она обняла его одной рукой за шею, дрыгнула ногой, чмокнула в щеку и притворно радостно воскликнула — “халло, малютка!”

Он мямлил и тянул, он не мог отделаться от чувства смущения, ему хотелось разговориться

с ней и вызвать в ней хоть каплю стыдливости. Но она была решительная и деловая девушка, и она с упреком говорила: "Мистер, зачем тратить время понапрасну, меня ждут другие. Время деньги".

Зальцман снова пережил то состояние нерешительности и смущения, он смотрел на Аню, на ее открытые полные руки и грудь, и его начинало страстно тянуть к женщинам.

Он тыкал рюмкой в направление Ани и говорил: —

— Ваше здоровье, мадемуазель, только до дна, это уже пожалуйста!

Аня брала машинально рюмку, чокалась с Зальцманом и улыбалась ему, но ее глаза оставались на толпе, там она следила за лицом Андрейчика, танцующего с крашенной блондинкой в тесной маленькой шляпе, из под которой свисали громадные красные серьги в цвет ярких, словно вымазанных свежей кровью губ. Аня следила за ним и тяжелая муть ревности клокотала в ней.

Зальцман протягивал опять рюмку к Самокатову, и пока тот, морщась и втягивая в плечи голову, наливал водку, он приближал к Пашке свое большое лицо и всматриваясь в него расплывчатыми близорукими глазами, говорил: —

— Это удивительно! Вы знаете, я никогда не был раньше в артистической компании! А вы казак, давайте выпьем за казаков, по военному, до дна!

Он тянулся через стол и начинал рассказывать Пашке о казаках, путая их с ковбоями; он

рассказывал о джигитовке, о которой слышал от других, он увлекался и рассказывая о джигитах, говорил о себе. Он увлекался до того, что даже предпринимал показывать Пашке, как они делают "ножницы" на карьере, он почти ложился на стол, делал какое-то трудное движение рукой и, расширяя безцветные глаза, восклицал :

— Вы понимаете ? Это же прямо удивительно !

Пашка глубоко — до пят — затягивался сигаретой, выпускал из ноздрей дымовую завесу, прорывая ее крепкими табачными кольцами, он поглядывал на Зальцмана, на его большое белое лицо с падающими со лба жидкими волосами, снисходительно улыбался и говорил :

— Как-же, как-же !

Когда гавайцы вытянули из гитар последние тягучие аккорды, Зальцман вспомнил об Ане. Он побежал к граммофону, стал выбирать пластинку и заспешил пригласить Аню.

— Мадемуазель, не откажите тур вальса, — говорил, он вытирая платком руки.

Он держал Анию за руку и обнимал за талию, ожидая пока не расшипится пластинка. "Раз, щелк, три" — мысленно повторял он ; ощущение теплоты тела Ани, запах ее духов и пудры волновали его, он набирал полной грудью воздух и давал себе слово во что бы то ни стало поехать позже к женщинам.

Пластинка перестала шипеть и начинала вальс, Зальцман становился в позицию и выше выносил свою и Анию руку, но кто-то в публике кричал — "не надо вальса, долой вальс!" и невиди-

мая рука подставляла пластинку фокстрота. Зальцман вежливо улыбался и кричал — “вальс, вальс, господа, только один тур,” но ему в ответ кричали — “не надо вальса, долой!”

Зальцман стоял, улыбался и говорил :

— Мадемузель, вы не имеете ничего против, мы сейчас начнем!

Но Аню это раздражало, она сердилась и отвечала ему :

— А ну вас в болото с вашим выступлением!

И она возвратилась назад на свое место, откуда ей был виден Андрейчик, сидевший у противоположной стены. Она хотела подойти к нему и заговорить с ним, но он, как бы предчувствуя неприятный разговор, стал и опять исчез в толпе.

Зажигались рожки по стенам, и сквозь тяжелое облако табачного дыма вспыхивали, как старые жемчуга, лампочки люстры, и Светозаров семеня ногами, пожимая плечи и вскидывая руками, показывался на середине залы :

— Господа, господа, минуточку внимания! Следующим номером программы, если никто не имеет против, я спою несколько романсов...

Май, 1939

Сан Франциско

Комиссар Крыленко

Роман о России специально для американцев.

Книги о русской революции не очень манят к себе русского читателя: слишком все это еще выпукло в памяти каждого, чтобы пережить снова эти страшные годы, даже при содействии увлекательного рассказчика. С еще большей осторожностью относится русский читатель к романам из этой же области, особенно написанным иностранцами, или людьми, оторвавшимися от русской жизни: он вправе предполагать, что увлекающийся автор может насадить достаточно клюквы, чтобы уже с первых страниц читатель хотел бы отложить в сторону книгу.

Но романы подобного рода имеют огромный успех среди иностранцев, для которых загадочная славянская натура теряет все свое обаяние, если она не в вышитой рубашке с погонами и двуглавым орлом на груди, и если эта натура без кнута в одной руке и самовара в другой.

В романе “Комиссар Крыленко” автор охватывает большой период русской жизни, представляя в первой главе одиннадцатилетнего мальчика, уже затронутого вопросами о социальной несправедливости. Жажда этой справедливости

через несколько глав вынесла его в годы революции наверх жизни, где он и занял завидное положение “комиссара смерти”. Этот мальчик, Дмитрий, сын сенатора Поливанова, становится комиссаром Крыленко, и может миловать и казнить кого хочет.

Не без удивления русский читатель узнает о положении вещей в России во время войны, когда народ страдал от голода, а раненые на войне не могли найти себе места, где бы они могли приткнуть свои головы, в то время, как при дворе и у “аристократов” все вертелось в безумной, непрекращающейся пляске. С еще большим удивлением узнает русский читатель, отчего началась русская революция 17 года. Оказывается, что безвольные правители Империи хотели отдать Россию на расчленение иностранцам ради собственной выгоды, что и заставило старые революционные партии напречь свои силы до предела и спасти Россию.

“Люди в окопах, как и страдающие миллионы в тылу были воодушевлены на действие”, говорит автор.

Для “зловещности” картины, в этом месте всплывает Распутин, который с дьявольским смехом говорит членам Царской семьи и министрам: “вы только маленькие черви, которых я давлю под своими ногами”.

Завязка романа чрезвычайно сложна и насыщена положениями, от которых невольно замирает читательское сердце. В центре романа семья сенатора Поливанова; в революции семья распадается, дочь Наталия работает на заводе. Сын

— блудный, сослан отцом в (?) Швейцарию. По слухам он был на войне, где, по тем же слухам был убит. События нескольких лет изменяют до неузнаваемости лица родственников и добрых знакомых, соответственным образом меняются и фамилии. Революция в своем развитии требует массу крови. В это время всплывает как раз кстати комиссар Крыленко, которые не спит, не ест и представляет загадку даже для близкого окружения. У него отсутствующий взгляд, замкнутое лицо, он как будто под гипнозом, когда, не глядя на имена смертников, подписывает их приговор. У него секретарь, единственное лицо, которое может входить к нему в кабинет. Секретарь — красавица с преждевременно поседевшими волосами и печальными, страдающими глазами...

Роман доходит до кульминационной точки читательского сердечного замирания, когда идет суд над Наталией и Степаном, рабочим, но который происходит из благородной семьи. В суде при разборе находятся только чекисты и советские шпионы. Все осужденные заранее обречены на расстрел. Когда Степан начинает протестовать против подобного отношения, ему совершенно резонно говорят: “какой же вы после этого коммунист, если так странно относитесь к приговору”.

Их приговаривают к расстрелу. Крыленко, с отсутствующим взглядом, все еще без еды и без сна, не задерживает с подписанием приговора.

— Враги должны быть уничтожены.

— Вы всегда такой, говорите каждый раз тоже самое, — с глубокой грустью говорит секретарь красавица. Она страдает. Крыленко — нет.

В последней попытке спасти Наталию, отец идет к Крыленко. Сцену свидания отца с Крыленко читатель ждет уже давно: он уже кое что подозревает и надеется, что его не обойдут таким лакомым куском. Красавица вводит отца и служанку Марфу в кабинет Крыленко. Крыленко, не поднимая головы и не всматриваясь отсутствующим взглядом, говорит, спросите их, что им от меня нужно.

Отец, старый сенатор Поливанов, как мужик, валится на пол в ноги комиссару. Про служанку Марфу не приходится и говорить: она уже на коленях и только восклицает: Барин, спасите. Непосредственно за этим происходят ужасные вещи. Отец узнает в Крыленко своего сына и натурально за его художества начинает душить его. Крыленко также узнает в нем отца, но ничего такого не предпринимает, кроме крика. Не задушив сына до желаемого конца, отец умирает и при этом с неприятным грохотом падает на пол второй раз, но тут уже трупом. Сын поднимает тело отца и бережно кладет на отоманку, нежно целуя его в мертвые губы.

Красавица секретарь сразу узнает в нем Дмитрия. — Дмитрий! — кричит она. Крыленко Дмитрий Поливанов узнает в красавице Зину. — Зина — кричит он.

Затем на ста с лишним страницах с этого момента, написанных, действительно, яркими чернилами, происходят потрясающие вещи. Крылен-

ко начинает страдать. Он хватился за список, в котором было имя сестры. Он теперь узнает, что чуть не прихлопнул сестру. Он должен ее спасти. Сцена спасения происходит быстро и деловито. В черном казенном лимузине Наталию и Степана везут куда то на свободу. У холодного фонарного столба стоит Крыленко и с глубоким страданием всматривается в быстро несущиеся машины. Из одной машины до него донесся, крик — Он жив, жив Дмитрий. Окаменев на время, Крыленко произнес — я благодарю Тебя, Господи.

Сказав эти слова, Крыленко возвращается домой. Вскорости он пишет письмо Зине, в котором признается, что он уже умер тысячами смертей с тех пор, как они расстались несколько часов назад. Он так же признается что хочет молиться. Письмо обрывается, так как входят чекисты.

— Товарищ Крыленко, вы какую то телеграмму посыпали? — Да, да, я знаю.

Он смотрит на часы, ему нужно выиграть время, чтобы Наталия добралась до границы. Позади Крыленко открывается дверь и входит женщина с ужасом на лице. Она слышит последние слова Крыленко : — Товарищи, я готов! — но, увы, поздно, он уже простреливает из пистолета свою грудь. — Не надо, Дмитрий, — кричит Зина. — Благодарите Бога, — шепчет Крыленко.

Четыре чекиста ничего не предпринимают, так как они к этому времени окаменели. Как ни привыкли они к смерти, но “это было не ordinaryное самоубийство, и это трагедия не только одного Крыленко, но и всех сыновей России”.

Вот все, что есть в этом романе с пугающим читателя заглавием — “Комиссар Крыленко”. Чего нет в романе — об этом можно не говорить, это не столь существенно, как не существенно и то наше русское опасение, что такой материал о России преподносится иностранцам. Автор никак не хотел разочаровывать своих читателей и оставить их без привычной развестистой клюквы.

Июнь, 1939
Сан Франциско

Групповые фотографии

Приходилось ли вам изучать групповые фотографии? Те, которые обычно снимаются при закладках зданий, на торжественных банкетах, празднествах и годовщинах? Когда озабоченно скрывающийся под черным пологом фотограф является полным хозяином положения, пока он, в обычной позе фотографов всего мира с откинутой ногой и с отвернутым носком, в растегнутом сюртуке, с пальцем за отворотом бархатного жилета, со сложным чувством озабоченности и трагической решимости не нажмет резиновую грушу.

Давно установлен факт, что в каждом русском эмигрантском городе есть, например, свой полковник, милый прыткий стариочек с седым ежиком, который всегда, надо или не надо, вызывается дирижировать танцами. В сущности, можно было бы и без него, даже еще лучше, он всем только мешает, когда, бодро пристукивая каблучками, умоляющим голосом кричит “мадам, прошу вас — агош !”

Так же тщательно установлено и проверено, что имеется на лицо обруслевший немец, почти

всегда по имени Карл Иванович, но не тот Карл Иванович, о котором рассказывает, как он поздравил с первым апреля свою жену, Эмилию Карловну, а другой. В одном городе он бывший учитель немецкого языка, в другом бывший аптекарь. Кто бы он ни был, он неизменно говорит: “Ай, какой был роскошный жизнь на нашей матушка Рассея!”

Установлено так же и то, что в каждом городе есть два достопримечательных Ивана Ивановича. Есть, например, Иван Иванович, который пьет, но есть Иван Иванович, который только выпивает — и тот, и другой, кроме всего прочего, еще и наглядно подтверждают на своем примере богатство оттенков русского языка.

Но вернемся к тому торжественному моменту, когда нервные пальцы фотографа готовы решительно сокрушить грушу. Так пылкий любовник в классических романах драматически крошит в руке розу коварной изменницы!

Но рука фотографа далека от разрушения! Вот десятки гордых взглядов впились в таинственное стекло аппарата, чуть чуть, на один, два дюйма поднялась грудь каждого и так замерла... Выдержит ли?

Светочувствительная пленка напряглась до отказа под мощным напором взглядов. Секунда, вторая... и фотограф бессильным движением роняет грушу, освобождает руку из под выреза жилета и фуляровым платком вытирает пот с бледного лба.

Фотография готова, проявлена, отретуширована, заделана в рамку и уже готова укрепиться

на стене. Но один момент! Дайте минуточку времени пробежать по ней пытливым взглядом! Так и есть!

При первом взгляде уже само по себе устанавливается факт, что все групповые фотографии на одно лицо. Где бы, в каком эмигрантском городе они бы ни снимались, факт остается фактом, что все они совершенно тождественны. Даже лица... Но позвольте рассмотреть по порядку.

Рассмотрим первый ряд, в котором, как и полагается, сидят достопримечательные лица, отцы наши и благодетели! Трудно удержаться от наплыва умиления, рассматривая первый ряд! Рядышком, ручки сложены, так вот—особа духовная, владыко архиерей, по обе стороны—военные и гражданские чины генералы. В глазах твердость и олимпийское спокойствие, никаких человеческих слабостей не увидите, ни честолюбия, ни себялюбия, наоборот, одну только заботу о других, да рвение к общественному служению. Первый ряд наш оплот, гордость. За первый ряд не опасно, он не подведет!

Не подведет, конечно, и второй, но там уже другая масть и другой цвет.

Но прежде, чем перейти дальше, обратим внимание на того, кто всегда сидит, скрестивши ножки и оперевшись о локоток, в ногах первого ряда. Его обычно зовут Петей, ему сорок четыре года, он лысоват и кругловат, и его жена говорит о нем — смотрите, смотрите, мой то как разошелся!

Бросим еще раз взгляд на первый ряд, вот, например, на крайнего справа: сидит, ножку

так ловко подогнул, локоток о ручку кресла упер, головку так умильно склонил и вперед выжидающе подал! — ну, впрямь, покойный Павел Николаевич Чичиков на губернаторском балу!

Поскольку в первом ряду добродетель и умиление, то во втором вкраплена некоторая слабость и даже порок!

Вот, взять первого с края! Хотя у него и выпяченная грудь, но в глазах не только одна гордость, но и горечь; на его губах тонкая усмешка, которая говорит: ну-ка, попробуйте теперь без меня обойтись!

Его, действительно, на последнем заседании, что называется, прокатили на вороных, и теперь он радостно ждет, что без него все обязательно развалится.

Рядом с ним поэт, из тех, что, главным образом, касается мотивов гражданской скорби. Его добрые родители не обратили в свое время на него должного внимания, не поsekли, когда нужно было, а теперь ему самому уже никак не совладать со своим тайным пороком. Не лишен он и другого, красноречивым свидетельством чего является его нос (дыхательный аппарат, как говорит он сам), густая краска которого проступила даже на фотографии.

Около него стоит человек, одержимый совершенно другим рвением. У него толстые щеки, крупный нос и жирная шея, в большом избытке голос, который он не знает, куда девать и что с ним делать. Это его голос раздается издалека, с высоты театрального балкона, когда он радост-

но и гулко кричит "бис" певице, только что появившейся на сцене.

Дальше, как бы для украшения, находится представительница прекрасного пола. Ее выразительные глаза с загадочным выражением упрека, недоверия, страха за свою непорочность и кокетства, устремлены на человека, стоящего поодаль. Все в ней, лицо, прическа, костюм, сложная игра во взгляде, говорит убедительно об одном, что "поздняя осень, но грачи еще не улетели".

Человек поодаль внушает ей неоспоримую тревогу; он чуть отвесил нижнюю губу, чуть вскинул бровь и с таким мало заинтересованным видом, наклонившись к своей соседке, смотрит в таинственный объектив камеры. Его нельзя не узнать. На памяти всех он еще недавно носил пикейный белый жилет и узкие лаковые ботинки, от которых тайно страдал, что придавало ему тень меланхолизма и обреченности. Что то роковое придает ему и брелок в виде пистолета с витиеватой надписью у курка "Кавказ".

Его соседка пухленькая, в кудельках, с кругленькими щечками и маленьким, как изюминка на куличе, носиком. Ошибки не может быть, что она поэтесса. Обычное ее имя Аллочка, хотя в одних местах ее зовут Асињкой, а в других Кисой. Она вся воздушная, вся в кисее, "соткана из блесток и минут", живет и дышит стихами, головокружительное пребывание в поэтическом эфире составляет главную цель ее земного существования.

В этом ряду, ближе к центру, человек, кото-

рому почему то особенно дорога ваша судьба. Он совершенно безвозмездно, с поразительным рвением и упорством будет заботиться о вашей судьбе, службе и даже семейном счастье. Он готов разбиться ради вас, загоняя не только себя, но и своих родственников, положительно сбиваясь с ног, но в самый последний момент, когда все уже “на мази”, и вы и он должны пожать плоды его поразительного организаторского рвения, выясняется что у вас не та профессия, как он думал. Но эта пустяковая неудача не обезкураживает его никак. Он уже взялся за другого. Вот он стоит, у него прищуренный взгляд, как у человека, который соображает, что сделать для вас, устроить хорошую службу или просто дать деньги. Он и большой палец поднес к мокрой губе, словно готовый сейчас же “отслюнить вам сотню или две”.

В этом ряду крепко держатся старые устои и традиции. Здесь, например, находится человек, который до сих пор еще ездит “в золотой карете прошлого” и который настолько привык к этому неторопливому способу передвижения, что давно перестал пользоваться городским трамваем.

Тут и милый полковник с ежиком, который любит дирижировать танцами, и два Ивана Ивановича, для парадного случая удержавшиеся на том уровне, который обычно принято называть “в полсвиста”.

В этом же ряду, с одного конца или другого, чуть отдельно от других, стоит человек, кото-

рый подвизается на любительских спектаклях. То, что он служитель искусства, заметно по его бархатной куртке и галстуку с напуском. На родине он обычно выбирал классическую фамилию и был то Немезидов, то Антиногенов, но в эмиграции, как и все попавшие в нее, прошел через сложную трансформацию, и теперь к своей порусевшей фамилии для пущей крепости прибавляет приставку Волжский или Донской, но обязательно по названию какой либо отечественной реки.

Из более мелких персонажей в этом ряду следует упомянуть вот этих двух. Их обычно зовут Вовами. Они то, что называется любимцы публики, но каждый в своем роде. Один Вова обычно танцует на вечерах в присядку, а другой отличается тем, что поет "под Вертина- ского".

Еще один из маловажных персонажей в этом ряду — вот этот толстяк с ожиревшим голосом, который называет вас "голуба" или "мамочка", любовно заглядывает вам в глаза и откручивает пуговицу вашего пиджака.

Как трудно было оторваться от отцов и благодетелей, сидевших в первом ряду, так еще труднее перейти от второго ряда к третьему. С поредением славных рядов эмиграции, редкие групповые фотографии имеют больше трех рядов.

Но нельзя не бросить взгляд на третий — и последний — ряд. Именно, бросить! Вряд ли он заслуживает большего внимания, так как в нем обычно стоит мелочь, то, что называется даже

не “кобылка”, а “кобло”. Хуже всего еще то, что они не имеют ни чинов, ни званий. Кроме “кобла” их еще называют — в зависимости от степени их собственного художества — то бугаями, то рукосуями, а то просто пивунами, зашибаями и мухобоями.

На них сидящие в первом ряду давно уже машинули рукой и только терпят по великой степени своего великодушия и благодетельного отношения даже к погибшим людям.

Взять хотя бы этого красавца: ушел в воротник, словно давясь от бессвучного смеха и трясясь так, что даже не мог попасть в фотографический фокус от того, что сорвался с прямой стяжи жизни. Или вот этот, с края, стоит, руки вперед подал, прицелился, словно только что, намелив винтообразным движением кий, забил с треском шар через весь биллиард — это в присутствии высокопоставленных особ, сидевших в первом ряду! А то вот еще: вытаращил глаза там, что они налезли на лоб, словно только что закусил немалую стопку водки пыжиком, густо, в два этажа, смазанным горчицей, и сейчас от жара не может закрыть рта и только шевелит молча пальцами в воздухе.

Нет, дрянной народ, не стоит даже рассматривать третий ряд!

Апрель, 1940
Сан Франциско

❶ ЧЕМ ГОВОРЯТ НА ВЕЧЕРАХ

О чем говорят на русских вечерах? Не в антрактах и не тогда, когда публика терпеливо ждет поднятия занавеса или когда уже все окончено, и надо расходиться по домам. Тогда публика обычно молчит и развлекает себя тем, что шевелится на местах, водит по сторонам глазами и ладонями прикрывает зевки.

Настоящий разговор начинается тогда, когда в зале гаснет свет и на сцене появляются исполнители программы. Одновременно с их появлением в зале поднимается роеный гул голосов, время от времени прерываемый смешком и громкими восклицаниями.

Ниже помещается несколько примеров такого разговора.

РОМАНС

На сцене появляется певец. Он проводит рассеянным взглядом по головам публики, выправляет манжеты, оттягивает от кадыка запонку, шевелит в сторону аккомпаниатора пальцами,

солидно откашливается, словом, делает все то, что делают обычно на сцене баритоны. Он прикрывает глаза и начинает петь “Наш дивный бал горел огнями”.

Позади раздается голос, за ним другой.

— Одно не могу понять.

— Что, позвольте спросить, не можете понять?

— Вот он поет — “я утомленными глазами ее впервые увидал”.

— Что же тут, позвольте, особенного?

— Если у тебя утомленные глаза, то не шатайся по балам, а сиди дома. А потом, с чего это утомленные!

— Ну, это естественно! Качаешь всю ночь шваброй по коридорам, так не только, извините, глаза будут утомленные. Небось знаете, что значить мапит по три этажа за ночь!

— Мне ли не знать, слава Богу! А, позвольте, по вашему тот, про кого поется, тоже был джанитором?

— Не думаю, нет... Это теперь такую моду ввели, в уборщиках-джаниторах работать, раньше то так не бывало. Обычно в министерстве, а то в гвардии...

— А певец то; сразу видать — джанитор!

— Смотрите, как рукой загребает, совсем как будто щеткой водит.

— А вы знаете, теперь нашего брата джаниторов стали красиво звать — щетоводами.

ПАТЕТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ

— Не одобряю я этого вашего хваленого дирижера, как его — Пальто или Монто! Не нравится он мне. Не могу привыкнуть к моде дирижировать без нот! Кто эту моду, хотелось бы знать, ввел! Откуда я знаю, что он дирижирует по памяти! Уже не такой я большой знаток музыки, чтобы следить, не выдергивает ли он, что ему не нравится, или отсебятины не дает! Музыкантам все равно во что и как гудеть, только бы платили аккуратно и не задерживали... Уж если я заплатил свои кровные, так ты подай мне настоящую музыку, так как она записана, играй по нотам, давай мне все звуки, сколько бы их там ни было, а не качай по памяти.

ЕЩЕ О ДИРИЖЕРЕ

— Поют прекрасно, слов нет, тонко и прочно, но не могу я на них смотреть, особенно, на ихнего дирижера — он всю сцену руками закидал! Счастье их, что он довольно небольшой по себе, а был бы крупный мужчина, так своими ручищами посшибал бы декорации, даже, поди, до люстры добрался! Не могу я слушать их при таком махании, что вы можете сделать! Все на посторонние мысли отвлекаюсь,

все мне кажется, что вот-вот, драка великая начнется, и публику втянут, кассиршу сомнут... Будь по мне, я бы, знаете, такое правило ввел: прежде чем пускать дирижера на сцену, скручивать ему руки позади...

— Ну, хорошо, позвольте, скрутите ему руки, а как же он дирижировать будет?

— Ничего, не беспокойтесь, справится! Бровями пусть дирижирует!

ЭТЮД СКРЯБИНА

Отвечая на аплодисменты, пианистка поднялась и раскланялась. Она снова села, подняла руки над роялем, продолжая играть.

— Маленькая, маленькая, с блошиную душу, язви ее, а какой удар, подумать только!

— Удар, действительно, основательный! Но это, знаете ли, с ростом не вяжется. Само собой. Главное, если с детства начнут обрабатывать как следует, то не только такой удар можно выработать. Сущая истина в словах: “заяц, ежели его бить, может спички зажигать!” У нас зайца не было, но был однокрылый кобчик, которого через такую школу пропустили, что он, извините за выражение, клювом на мандолине играл...

— Бьет то, бьет как! Даже патлами потрясает, ах, как талантливо играет!

— Любите музыку, поди?

— Странный вопрос, батенька! Я, можно ска-

зать, свой человек в этом мире. Правда, последнее время стал отходить... Балалайку, вот, продаю, не знаете ли кого либо, кто ищет инструмент? В хорошем виде, продам недорого.

— Сам то играете?

— Я то? Да хоть сейчас “Светит месяц” сыграю, шестнадцать вариантов туда и обратно!

— Шестнадцать? О-го!

Октябрь, 1940
Сан Франциско

Из семейных аниалов

Наш дедушка купил токарный станок. На том месте, где он решил поставить станок для выделывания шариков, на которые он нашел где то большой спрос, стояла сапожная машина. Это была не простая машина, а как выразительно говорил дедушка, универсальная, портативная машина для выделки обуви.

История покупки этой машины представляет немалый интерес с точки зрения экономики, производительности и значительного удешевления труда и предметов первой необходимости, и в нашей семейной хронике занимает несколько ярких страниц.

Конечно, дедушка не сразу решил купить такую машину. Он решил ее купить после того, как постепенно растерял своих слушателей. За обедом и вечерним чаем дедушка любил рассказывать в полезной и легко усваиваемой для подрастающего поколения форме о неповторимой красоте своей жизни на родине.

Все давно уже знали наизусть дедушкины рассказы, но терпеливо выслушивали его, а наиболее деликатные даже кивали головами в знак

согласия. Все, за исключением младшего братца, “эмигрантского сынка”, который после таких поучений с практичностью американского юноши неизменно говорил: “время деньги. За доллар буду слушать”.

К твердому и бесповоротному же решению о покупке сапожной машины дедушка пришел после того, как его любимая внучка решительно и раз навсегда поставила крест на дедушкины истории в отношении себя. Как то критически осмотрев ее платье и легкое пальто, он стал рассказывать, как одевали его зимой, в тулупчик, валенки, варежки, меховую шапку, башлык, завязывали и закутывали в шарф и так плотно затягивали, что маленький дедушка даже не мог опустить вниз руки, “но зато уже холод никак не проникал внутрь, а вот у вас здесь что!” С этой истории дедушка перешел на другие, до тех пор, пока восьмилетняя внучка, уже давно недоверчиво поглядывавшая на дедушку, не сказала веско и выразительно — “это все, дедушка, старый стиль!”

Несколько дней после этого дедушка сидел взаперти от всех, но когда наконец вышел, все заметили особый огонек в его глазах. Мы знали, что следовало ждать после того, как такой беспокойный огнек загорался у него.

И так в один прекрасный день “универсальная портативная машина для выделки обуви, модель такая то” была куплена и после некоторой возни, легкой перебранки и двухдневного молчания дедушки была поставлена на веранде. Затем дедушка съездил на целый день в город и при-

вез с собой фунтов пять мелких гвоздей, кожи, несколько молотков и фартук. Несколько дней с раннего утра до позднего вечера он ходил вокруг машины, смазывая и начищая ее до безукоризненного сверкания. Время от времени он заводил мотор и критически прислушивался к шуму машины, после чего, неудовлетворенный чем то, принимался снова за смазку. Нечего и говорить, что дедушка никого не подпускал к машине, и что в течение двух дней настойчиво, упорно и яростно бился с невестками, которым нужно было вывешивать на веранде белье, и что эта битва даже несколько напоминала легендарные рассказы о Фермопилах и о прочих классических образцах мужества и храбрости.

На все расспросы о машине он твердо и коротко отрезывал: вот как окончательно отрегулирую, тогда позову всех!

В короткое время дедушка успел протоптать вокруг машины такую дорожку, что можно было думать что машина стояла там уже с десяток лет.

Настоящую же лихорадочную деятельность дедушка проявил, когда бабушка в разговоре упомянула о какой то вдове, которая никак не может добраться до сапожника. Историю о вдовьей обуви он выслушал с особо глубоким вниманием и даже попросил повторить снова, затем тщательно расспросил бабушку, кто такая вдова, где живет и т. д.

То, что бабушка не знала ни имени, ни адреса вдовы, не смутило николько его. Видно было, что если бы вдова пришла сама и принесла в

починку обувь, дедушка может быть даже потерял охоту чинить ее.

На следующий день дедушка рано утром ушел из дома и вернулся вечером. Все уже сидели за обедом, когда он, торжествуя и улыбаясь загадочно, пронес подмышкой сверток. Весь обед он сидел боком на стуле, даже несколько раз бегал на веранду смотреть на принесенную вдовью обувь, которую он будет чинить после обеда, пока наконец младшая невестка не подвинула его колени и не поставила его стул ближе к столу.

Весь вечер дедушка провел в лихорадочной деятельности, он то и дело выскакивал с веранды и быстро шел к различным ящикиам и полкам, где он держал добавочный товар и инструменты. У себя же на веранде дедушка поднял такую возню, что можно было думать, что он принял не за починку старушечьей обуви, а, по меньшей мере, принял интендантский заказ на обувь. Он раскладывал на всех свободных столах куски кожи, быстро высчитывал на груде бумаги как бы ему вырезать поэкономнее кусок для подметок. Когда же он изрезал столько кожи, что на них можно было бы поставить подметки всем обитательницам среднего размера богадельни, дедушку охватило сомнение, что товар номер первый не идет на такую работу, и что нужно завтра купить товар номер два.

На всякий случай дедушка утром прихватил с собой и вдовьи ботинки. Несколько следующих дней дедушка то и дело разворачивал старушечью обувь, начинал работать, потом

снова заворачивал их и уезжал то посоветываться со знакомым сапожником, то выбрать особый кусок кожи, то спросить вдову, чтобы “не было бы уже никаких недоразумений”.

Лихорадочная деятельность пришла к концу недели через две, когда дедушки, после тщательного выбора коробки по всем своим потайным ящикам, с большим умением и довольно быстро — всего в полдня — завернул ботинки и отвез вдове. Когда он вернулся, у него был по справедливости торжествующий вид! Он так небрежно вынул из кармана и вскинул на ладони семьдесят центов, заработанных им от вдовы, но не выдержав такого неторопливого тона и все еще под впечатлением недавней лихорадочной деятельности, он завел неменьшую возню у себя в комнате, где ему нужно было разнести по книгам полученные деньги и свести баланс.

Когда мы подсчитали, что дедушка извел кожи долларов на десять и доллара четыре проездил только на трамваях, то мы решили, что починка вдовьих ботинок обошлась, действительно, в пустяки, но что было бы значительно хуже, если бы дедушка купил полный набор особых кленовых колодок.

Затем дня два дедушка сидел на веранде, как настоящий сапожник, в фартуке, критически поглядывая на заглохшую машину, ожидая еще раз удобного случая, как с вдохом, чтобы разить напряженную деятельность. Он сидел так, и каждый читал на его лице, во всем его виде скрытую угрозу — “вот, подождите, смотаюсь в обитель...”

Случай представился скоро, когда одна из невесток попросила дедушку подбить шатающийся каблук. Пользуясь случаем, дедушка устроил особое совещание. Он разложил на столах разные куски кожи и очерчивая по ним ногтем большого пальца (движение, которое он заимствовал у знакомого сапожника), с жаром стал говорить, что нужно невесткины туфли вообще переделать заново, тогда и фасон будет лучше, а главное носка будет до бесконечности, но что нужно на это по крайней мере два дня. Пока дедушка с жаром обсуждал различные способы починки обуви, младший наш братец, американец, со словами — время деньги, взял дедушкин молоток и в два счета прибил каблук.

Вот дедушка наш тогда страшно распалился и распетушился. Он так совершенно не может работать, если ему поминутно вставляют палки в колеса, портят его машины, которые он с таким трудом отрегулировал. Он дал торжественное обещание всем с этого момента никому ничего не делать, если его самого так притесняют, не дают ему жить и т. д. Потом дедушка заперся у себя и сидел там несколько дней.

Лед расстал не сразу. Неизвестно, что помогло таянию, заботы ли его любимой невестки, или найденный им иллюстрированный каталог токарных станков.

Когда дедушка вышел из своей комнаты с каталогом в руках, в его хитровато сведенных глазах был тот уже хорошо известный нам огонек. К вечеру, когда на возню и голоса на улице, внучка выглянула в окно, она сказала уже

привычную фразу: “ дедушка еще одну машину привез ! ”

Пока возчики протаскивали токарный станок и стаскивали сапожную машину в подвал, где уже стояла машина для отливки церковных свечей, выпиловачный станок и другие дедушкины затеи, дедушка в страшной спешке говорил, что ему удалось здорово дешево купить этот станок, всего за 69.75, что было бы, конечно, дорого за другой, а за этот, с особыми никеллированными подшипниками, совсем даром, и что такой станок окупить себя сразу же, вот только ему нужно будет его отрегулировать и пустить в ход и **тогда...**

Май, 1942
Сан Франциско

Воспитатель

Воспитатель появляется с кипой сыщиков подмышкой, с коробкой гильз, машинкой для набивки папирос и табаком. Он садится в кресло, закидывает назад голову, чтобы вспомнить, на каком месте прервал чтение, и держит ее так некоторое время, даже вскидывая еще выше, отчего тогда, кроме развернутых ноздрей и бледно-фиолетовых бровей, на его лице ничего не видно.

Не опуская головы, он медленно проводит глазами по стене. Его взгляд останавливается на групповой фотографии духовных особ с архиереем посередине, которые тоже всматриваются в него с наростающим интересом, несмотря на подобающую сану строгость, и кажется, что поощрительно говорят: "ну, вот, как славно, сейчас и за науку!", а владыка при этом даже складывает персты для благословения.

В углу, за диваном, тихо, как мыши, копошатся дети, Костя и Настя. Они смотрят на воспитателя, и на их лицах, в широко раскрытых глазах и ртах растет зачарованное выражение, граничащее со страхом.

Воспитатель, неспеша, набивает сразу десятка два гильз, водя рассеянно глазами по стенам. Он жарко распаливает папиросу, рукой заправляет ногу выше за круглое колено, дабы на скатывалась, и уминается в кресле на несколько часов неподвижного сидения. Он раскрывает книжку сыщиков на загнутом месте и проверяет, читана ли страница. Строго взглянув на детей, он выпускает клубы дыма из ноздрей, и неожиданно-быстро, как из пистолета, выпаливает “цыц!”

Дети стремительно ныряют за диван и лежат там некоторое время, но неподвижность воспитателя и клубы дыма, как от небольшого, но хорошо растопленного костра, снова подбивают их поднять головы.

Заороженные зреющим, дети не отрывают глаз от воспитателя, который при переворачивании страницы, каждый раз вскидывает головой вверх и назад, отчего дым сам по себе валит из его ноздрей прямым столбом.

— Отчего бывает только две ноздри? — задумчиво спрашивает шепотом Настя.

— Если одна ноздря, то это был бы тунцель, — важно, после глубокомысленной паузы, отвечает Костя. И оба, испугавшись звука своих голосов, снова ныряют за диван.

Декабрь, 1942
Сан Франциско

Этюд Дебюсси

Не доводилось ли вам, милостивые мои государи, присутствовать при таком небезинтересном явлении, когда кто либо старательно исполняет при вас этюд Дебюсси на балалайке? Особенно, когда за окнами непогодица. И старые раны ноют. И суставной ревматизм. А тут еще кто нибудь, друг близкий или родственник, от игры этой и жмурится, и ластится, и глаза от блаженства закатывает, и жеманничает, ну, совсем, как кот, которого на теплой лежанке гладят по круглому животу шершавой рукой!

А тот играет Дебюсси и еще ноты по цифровой системе перед собой для верности держит. А у самого уши простужены, и вата в них заложена, и неизвестно, слышит ли он сам свою игру или нет. К тому же еще он слесарь, и у него пальцы от рашпиля надсажены и он не может смастериТЬ то tremolo, которое ему хотелось бы дать.

Если не доводилось, то благодарите Всевышнего и судьбу, что избавили вас от такого острого переживания! А если доводилось...

Но здесь уже слышатся нетерпеливые голоса возражения. Позвольте, не ставите ли вы этого

самого Дебюсси, да еще на балалайке, в некоторую, так сказать, связь с Вечером Декламации, имевшим быть у нас в прошлое воскресение? Если так, то причем тут балалайка, этот вполне уважаемый отечественный инструмент? А, к тому же, если не нравится, можно было бы и не приходить.

Да как же не ходить, когда такая прекрасная цель! Как не отзваться на такую чревовещательную рекламу? И праздник русской речи! И Татьяна пушкинская в ночной ситцевой рубашке! И в нововоплощенном виде Мирра Лохвицкая! И чуть ли ни Дед Пахом! И чуть ли ни Марфа Посадница в исполнении трогательного и душеватающего стихотворения “Звездочка, звездочка, чтож ты молчишь”.

Да и исполнительницы Декламации прекрасные и милейшие по всем своим высоким качествам дамы! И мы уже так привыкли к ним на сцене за последние четверть века, что уже давно перестали мечтать видеть кого либо другого.

Но вот как только доходит дело до полутонов, полустонов и фальшивых интонациях, уже извините! С первых же слов начинают мурашки по спине бегать, так, что даже пиджак шевелится! И не то, чтобы человек под этим пиджаком был какой то особенно тонкой структуры, высокого там образования и воспитания, что даже простому смертному и рукой не достать! Нет. Далеко нет! Такой же, как и все. И сам любит послушать и почитать, любит поговорить о науке, электричестве, философии. И может вальс с фигурами протанцевать. И не дурак выпить.

А вот как доходит до чревовещательного снижения голоса для какой то особенно глубокой передачи стиха, так что в этих фальшивых тонах и полутонах безвозвратно теряется даже самое живое слово стихотворения, так тут сейчас же и вспоминается Дебюсси на балалайке. И непогодица за окном! И старые раны начинают ныть. И суставной ревматизм разыгрывается! И жизнь начинает смотреть обратной медалью. И жаль своей молодости, и своей и чужой загубленной жизни. Да еще опасаешься, как вдруг у кого не выдержат нервы, и он крикнет в самую гущу этих полутонов и полуустонов — “спасайся, кто может”!

Февраль, 1943
Сан Франциско

Два монолога

еще не вошедших в мировую хрестоматию

СИЛА ВНУШЕНИЯ

— Много я здесь не одобряю, даже привыкнуть к этому не мог, от одной мысли расстраиваюсь! Заметили ли вы, к примеру, что здесь чуть ли не на каждом шагу левша! А почему? Вот то то и есть, почему?

— Видели ли вы у нас, в хорошее старое время, такое безобразие? У меня, повторяю, положительно душа леденеет, когда встречаюсь с таким противоестественным явлением! Во первых, почему ты левша? Что в тебе такого, что ты особенный? Начальство ест, выпивает, пишет правой рукой, почему же ты, спрашивается, должен идти наперекор ему?

— Может ктонибудь еще введет моду писать или, извините за выражение, есть ногой! Бог знает, что еще ногой будут делать, если допустить!... У нас с подобными неприятными явлениями справлялись в самом зародыше. Внушением отучали. И, действительно, случая не было,

чтобы не могли отучить. Сила внушения... Как говорится, хозяин за кнут, кот за соленые огурцы ! И не то, чтобы там руки ломать, калечить, нет, зачем же ! Иному левше какой папаша снимет шкур двадцать, сам руку себе надсадить, так тот не только про левшу, а вообще забудет, что у него когда то руки имелись !...

— Здесь же этого не смеют, а даже — подумать только ! — по-о-щряют их ! А почему ?

Голос доходит до зловещего шепота.

— Кому то они, батенька, нужны, да только мы об этом не знаем ! А когда узнаем, то будет уже поздно ! Да еще как непоправимо поздно !

ДЕБРИ ФИЛОЛОГИИ

— Сказывают, что в английском языке триста тысяч слов. Не знаю, ничего не скажу, ни за, ни против, не подсчитывал ! Времени на это нет, да, признаться, мне это ничего не говорит. Ты мне не число дай, а оттенки, живой смысл...

— К примеру, взять такой общепринятый глагол — пить. На иностранном : дринкен, дранк, гедрунк, и обчелся. А вот вам по русски : утка пьет, человек выпивает... Дальше-с ! Выпивает, одно, а, скажем, попивает — еще только балуется, не больше шести рюмок в сутки проносит. Опять же скажем, Иван Иванович, который пьет, и Иван Иванович, который выпивает. Совершенно разные особи, просят, как говорится, не смешивать фирмы. У первого и нос губчатый, вид

строгий, уже сам в себе, замкнулся, в руке дра-
же-манже, ладони розовые, глаз на оттеке, сле-
зится. А второй Иван Иванович еще гладкий,
выпивает и хихикает, пофилософствовать любит,
о науке, медицине поговорить, о пятом-десятому...

— Единственно, в чем я отдаю должное англий-
скому языку, это в слове “хай-болл”. В перево-
де дословно оно **ничего** не означает: “высокий
шар”. Но таит в своем значении глубокий тай-
ный смысл. Какой? А, вот, батенька, какой:
нахайболишься, а потом качаешь домой на ша-
рах!

Декабрь, 1944
Сан Франциско

Седые легионы

Валерий Мюллер, вольнослушатель Зарубежной Академии Генерального Штаба на-дому, нехотя оторвался от темного окна, где он час с лишним лежал терпеливо, прильнув к стеклу и наблюдая, как в доме напротив, в его шести этажах, постепенно замирала жизнь и отходила на ночной покой.

Наблюдения эти давали пищу уму и воображению будущего академика. Кроме развлечения, они еще оказывали ему практическую подготовку в применяемости к местности и замаскированию ее. Последнее было необходимо, чтобы никто из противоположного дома не увидел бы его возбужденного розового лица и остро-пытливых глаз. Поэтому место, где он лежал, припавши грудью к подоконнику, было замаскировано фолиантами походов Ганнибала и Цезаря таким образом, чтобы оставить щель для проворно-пытливых глаз, не больше, чем требовала фортификационная наука для глазных отверстий в бойницах.

Наблюдения эти, действительно, давали пищу пытливому уму вольнослушателя: за прозрачны-

ми шторами, а то и в неприкрытых окнах проходили полураздетые люди, готовясь ко сну. Будущего академика интересовали только женщины, так как мужчин, как военный материал, он оставлял для главной части своих операционных задач.

Вольнолушатель Мюллер оторвался от стекла, потирая довольно руки. Рекогнассировка начинала давать интересные результаты и оправдывать время терпеливого ожидания.

Над городом опустилась ночь, растилая над всем покой и ночное забвения, кроме стратега и тактика Мюллера, для которого закончился час невинных зрительных развлечений и небольшой практики в замаскировании местности, и наступило время главной работы, в которой он оттачивал свои стратегические и тактические планы.

Надо оговориться, что академик Мюллер, не посвящая никого в свои планы и, таким образом, не доверяя никому своей судьбы, готовил себя к роль вождя и избавителя. Планы его были уже давно готовы, и теперь все, что требовалось, была только лишняя проверка, чтобы, при применении их на практике, ничто не сорвалось бы и прошло гладко и безошибочно, как требуется в тщательно разработанных академических планах.

Наконец, время подошло к напряженному моменту...

... Воздух неожиданно стал насыщенным, словно в составе его произошли решительные перемены. С визгом, сошедшим на нет, как бы испепеленные невидимыми лучами, исчезли бесслед-

но короткие волны. В мире готовилось произойти что то решительное...

Это Валерий Мюллер, на огромном плацдарме единоборства, посыпал властной рукой на шестую часть суши неисчислимые количества оглов и соратников. Его голова была высоко закинута, он был неподвижен и казался значительным, даже величественным, каким он должен был казаться неисчислимым когортам своих славных легионов.

Над головой его только поднималась рука с вытянутым указательным пальцем, делающим чуть заметные, но властно посылающие движения вперед.

И они шли, седые легионы... Они шли с перекрещенными на груди пулеметными лентами, толкая перед собой тысячи пулеметов. За ними громыхали знаменитые мортирные и легкогаубичные дивизионы, и дальше, за полем встревоженной пыли, четко отбивая шаг, шли отряды специального назначения (для внутренней апликации, как в докладе представлял академик) с паяльниками в кожаных ножнах, с электрическими батареями в ранцах, с проводами, свисавшими с плеча на подобие этишкетов.

Не отводя головы и чуть только поведя глазами, маршал (к этому времени недавний вольнослушатель значительно возрос в своих глазах) посыпал на смотр другие части, и стоявшая вблизи его группа штабных генералов не могла не заметить чуть уловимой улыбки довольства на его лице. Маршал делал еще одно посылающее движение и чуть отодвигался в сторону,

хотя это совершенно не нужно было, так как через него и свиту генералов, разворачивая на ходу строй, шла крупным галопом полевая артиллериya, гремя орудиями и поглощая методическое верещание гусеничных приводов. За орудиями шли славные стрелковые полки, овеянные крылами прошлых побед. Радостно гудела под ногами стрелков земля и небо становилось разноцветным от множества победных знамен.

Маршал повел плечом и повторил посылающее движение указательным пальцем, и тотчас же, волоча по гудящей земле лиловые тени, поднялись десятки истребителей и бомбовозов, затмевая, как при полном затмении, солнце; и только по серебряному блеску можно было видеть, как пролетая над маршалом, самолеты, снижением на крыло, отдавали ему почести.

А по земле, не отставая от быстро несущихся лиловых теней, стелясь по ним гибкими гусеницами, проносились гордость и надежда маршала Мюллера, собственного его изобретения быстрогонные танки модели ВМ-13.

Но торжественный момент не позволял ему любоваться своим детищем! Маршал стоял неподвижно, как грозное изваяние, с устремленной вперед рукой против своего смертельного врага, посыпая на смерть и радостное воскресение свои седые легионы.

Как мог бы он любоваться и гладить особый сплав синей стали своего детища, когда из вытянутого маршалского перста струился динамический ток грандиознейшей в миревязки! До того ли было маршалу, когда надвигался

кризис мощного напряжения, тем более, что его ухо улавливало отдаленный раскат бэйных басов слитых вместе нескольких сот полковых оркестров, игравших победный марш.

Свита штабных генералов, следя взгляду маршала, видела сверкание серебряных труб, отблеск сотен тромбонных раstrубов.

Оркестры проходили туда, куда направлял их властный перст маршала, до которого уже докатывалось поднимающееся над топотом сотен тысяч людей стройное исполнение гимна величайшим по мощи в мире хором. Маршал только скосил глаза в сторону, чтобы заметить пятующуюся фигуру дирижера Вертиńskiego, с которого только еще накануне взяли торжественную подпись о прекращении его старого репертуара и полной замены новым, составленным целиком из высоко-патриотических произведений.

На мгновение сомненье охватило маршала. До сих пор все шло хорошо, но с этого момента маршал чувствовал, что вкрадывалось то, от чего ему становилось труднее соблюдать присущий моменту тон величия. Его вдруг охватило сомнение, что в припеве высоко-патриотического гимна, наспех написанного Вертиńskим, повторялась знакомая фраза из "Мадам, уже падают листва", и он хотел сделать движение остановить хор и снять его с поля, но идущая за хором толпа, при виде вождя, радостными криками ликования поглотила хор.

Вместе с облагодетельственным народом шло, накануне слившееся по приказу вождя, духовенство, ведомое владыками-архиереями, лобызав-

шимися на ходу, как в День Воскресенья, в окружении соборных диаконов с курящимися кадилами. За духовенством шли представители воскрешенных сословий, дворянство, сгибавшееся под тяжестью бархатных "шестых" книг, купечество и мещанство в черных суртуках с медалями Красного Креста, с хоругвями, иконами и хлебом с солью.

Нагоняя хор, проходили женские батальоны в рейтузах, какие носили в прежние годы штабные и писаря артиллерийских складов, через каждые четыре шага поднимавшие вверх руки и восклицавшие "слава вождю-маршалу", и вновь еще недавний вольнослушатель академии почувствовал прилив крови к взволнованной груди, как при проходе его собственных танков. Вождь сделал чуть уловимое движение в складках рта, и штабной свите показалось, что в углах рта сверкнула накатившаяся слюна, но они, как по команде, отвели глаза к небу, уже значительно очищенному от покрова бомбометных крыльев.

Грохот артиллерийских запряжек, раскаты марша и соло басов, хор Вергинского доносились издалека одной волнующей симфонией, но впереди слышался подозрительный шум.

Вождь Мюллер чувствовал, что его опасения относительно стройности плана начинали принимать явно конкретную форму, чтобы можно было иметь другое мнение на этот счет.

Из за поворота на плац выходили спешно мобилизованные в особые отряды культа разумных развлечений работники сцены. Все они были сняты с подмостков любительского театра

Эмигрантского Клуба, спешно наряжены во все, что можно было найти в театральной гардеробной, не без актерского расчета, однако, соблюсти колорит общего ансамбля.

Актеры шли особым строем, по четыре ряда в затылок, каждый ряд нес длинные рамы кулис, на ходу репетируя первую патриотическую постановку, намеченную в списке освеженного и проверенного самим вождем репертуара.

Вождь насчитывал про себя знакомые лица, напрягая всю волю, чтобы во время их прохождения не опустилась бы его рука, и он сам не повалился бы в припадке бешеного смеха. В то же время он не хотел допустить обычной актерской фамильярности, которую можно было ждать от первого любовника, Левы Райковского, проходившего во второй гусиной линии в форме ополченца времен отечественной войны. Но волочивший с любовником кулисную раму трагик Сысой Антиногенов, ступая не в такт, протолкал его вперед. Прошел в плохо пригнанной форме Светозаров, семеня ногами, окончательно сбивая с ног других; инженю-драматик Раечка Липстик-Задунайская нервно вздыхала грудью и, проходя мимо вождя, не могла не удержаться, чтобы не разыграть сцену, обычно создававшую ей успех в последнем акте драмы.

За "культом разумных развлечений" строем проходили линейки учреждения, издревле известного как институт дѣ евних языков; на линейках спинами друг к другу, сидели девушки и экономки, держа в руках древки с флагжками "имени первого мортирного", "шефского вто-

рого легко-полевого “гаубичного”, “личного состава вождя”.

Проходя мимо маршала-вождя, Анна Маркова-на, главное попечительница и директрисса института, подала знак, чтобы пройти развернутым строем, и экономики на каждой линейке уже сделали движение, чтобы повторить приказ, как легким движением плеча, скорей чтобы удержаться от корчей сумасшедшего смеха, маршал приказал отменить перестроение.

Но знак не был пойман во время, и часть задних линеек налезла на первые ряды, произведя значительное замешательство. Пытавшийся обогнать “первый в мире летучий полевой” отряд военных корреспондентов и мобилизованных “работников пера” под командованием братьев Солоневичей, врезался в кортеж Анны Марковны, устроив еще большее замешательство.

В отряде “тружеников пера” были масти-тые, с седыми писательскими гривами, тучные и тонкие, аппоплесического сложения и впалогрудые, мужчины и женщины. Все они были в наспех пригнанной форме, сидевшей на них мешком, и только оба Солоневича были в своей прежней форме земгусаров.

Тружениники пера тряслись в седлах, сползая на сторону и поминутно теряя стремена и поводья, держась одной рукой за луку и поднося другую с перепутанными поводьями к своим подбородкам. У некоторых из тружениников лошади были звездочки, что еще ухудшало общее замешательство, так что многие из них стремились держаться как можно ближе к ли-

нейкам, где они, с присущей их профессии завистью и недовольством, говорили девушкам: “вам то, вот, хорошо сидеть на линейках!...”

Как и в прежние разы, Валерий Мюллер чувствовал, что пора остановить парад седых легионов, так как вместо формального смотра начиналось неподобающее безобразие, да и сам он, к этому времени с красным от смеха лицом и глазами полными слез, уже никак не мог соблюдать то жественный вид, подобающий слугаю.

Октябрь, 1940
Сан Франциско

Трактат о медицине

Необходимость в подобном популярном изложении чувствовалась настолько давно, что непонятно, почему за века существования медицины ничего не было выпущено в свет подобно настоящему труду. Трактат о медицине не претендует на всеобщее охватывание предмета и отнюдь не является домашним лечебником; его задача только пролить достаточно света на то, что давно уже следовало подвергнуть добросовестному исследованию.

Нет нужды говорить, что вопрос о медицине продолжает волновать всех, и вместе с тем ничего не было уделено этому вопросу в простой и удобопонимаемой форме. То, что относят к литературе о медицине и что обычно помещено в огромных томах, написано самими врачами с исключительным желанием затруднить и запутать и без того сложной вопрос так, чтобы никто, кроме нескольких посвященных, не мог бы разобраться в нем.

Почему же до сих пор ничего не было сделано в этом направлении, чтобы помочь разобраться в вопросе, с которым связано так много

тревоги?

Трудно было бы ожидать, чтобы врачи, вопреки своим жизненным интересам, могли бы решиться на такой рискованный шаг, как изложение в простой и понятной форме того, из чего они создали тайну удобную для своей профессии!

Пациенты, в свою очередь, так заняты своими недугами, что им не до того, чтобы писать труды о медицине, и все, на что у них еще хватает сил, это передача в устной форме, с частыми повторениями, о ходе своей болезни, что, конечно, далеко не охватывает всего сложного вопроса о медицине, и не свободно от известного пристрастия, без которого болезнь теряет всякую привлекательность.

Здоровым совсем уже не до того, они не только не в состоянии писать, но даже боятся думать о медицине, и так откращиваются от нее, чтобы, чур, ничего не прилипло к ним самим. Если они и говорят о ней, так только в такой общей и удобной форме, как "медицина нынче пошла очень далеко".

Вопрос о медицине делится на три главных отдела: пациенты, врачи и болезни. О пациентах следует сказать, что это все мы в тот или иной положенный срок. Больше почти нечего сказать, кроме того, что пациенты не совсем бывают справедливы в отношении врачей, по простиительной, правда, причине нервности, связанной с болезнью. Бывают, правда, случаи, которые лучше назвать эксцессами, как, например, следующее предостережение незадачливому врачу:

“ты только зарежь мне жену, так я тебя сам задушу до операции!” Но подобные случаи весьма редки, явления крайней исключительности; кроме того, они обычно исходят не от самих пациентов, а от их родственников, что не имеет прямого отношения к разбираемому нами вопросу.

Трудно точно охарактеризовать отношения, существующие между пациентами и врачами. Далеко невраждебны, но и отнюдь не дружелюбны, в лучшем случае их можно было бы определить недоверчивыми: одни опасаются, что врачи не распознают их болезни и не вылечат их, а те опасаются, что пациенты не заплатят им за лечение.

Пациенты любят говорить о врачах, это одна из самых увлекательных тем, особенно, если описывается сложный случай, с которым столкнулись врачи. Следует отметить, что в разговоре и в манере слушать есть свои приемы: когда описываются врачи на фоне хода болезни, то следует, время от времени, не перебивая рассказчика, качать головой и приговаривать: “ах, что делают!” Между прочим, ничто так больше не уязвляет врачей, как это приговаривание.

О врачах вообще говорится во множественном числе: “вчера мне врачи осматривали голову” или “врачи запретили мне пить натощак”.

Сколько врачей, никогда не говорится, но ясно для всех, что подразумевается не два, не три, и даже не пять, в значительно больше.

Врачи — своиенравные существа, решения и советы которых нельзя оспаривать, так как за

ними всегда кроется что то, о чем сам пациент не может даже и подразумевать. Когда пациент говорит, что "врачи запретили ему есть серый хлеб", его прежде всего поражает особая зоркость врачей, устремивших свои взгляды на такой казалось бы незначительный вопрос, но который, как не сомневается сам пациент и его родственники, может стоить ему жизни.

Врачи разделяются на несколько категорий. Самые незадачливые из них те, которые только ставят диагноз, так как издавно известно, что никто не может поставить себе более верного диагноза, чем сами пациенты. Настоящая причина, почему пациенты обращаются к врачам, конечно, не диагноз, а проверка степени неподготовленности врачей и их неумение разобраться в болезни.

В несколько лучшем положении находятся врачи, которые советуют, находят и рекомендуют. У этих врачей имеется даже некоторый вес, и пациенты прислушиваются к их советам.

В лучшем положении находятся врачи, которые запрещают. Нет грани тому, что врачи могут запретить пациенту, все зависит от их собственной изобретательности и умения подыскать что либо оригинальное, вроде запрета есть серый хлеб.

Выше их стоят врачи, которые отказываются лечить. Не все врачи доходят до этой высокой степени в своей практике, где они могут отказываться лечить. Нужно особое умение и значительный стаж, чтобы не повредить своей практике, а то и не потерять ее совсем.

На самом высоком положении стоят врачи,

которые “приговаривают”. К этим врачам пациенты чувствуют необычайную теплоту и незабываемую признательность. О них говорится особо торжественным тоном, самый факт, что врачи приговарили пациента, внушает к ним неограниченную степень уважения не только больного, но и его родни. В рассказах пациентов этой категории врачам отводится самое большое и почетное место, при чем слушатели, захваченные деталями рассказа, не приговаривают, “ах, что делают!”

На несколько классов делятся и болезни. Их в сущности только четыре типа, остальное же ничто иное, как номенклатура, и пользуется врачами только для того, чтобы запутать пациента и внушить ему страх.

Эти четыре типа болезни определяются следующим образом: болезнь, которая загоняется “во внутрь”; болезнь, которая имеет обратный ход (она же и повторная болезнь); болезнь, которая выходит наружу.

Все остальное, что не подходит к первым трем типам, относится к четвертому, который определяется одним научным выражением “нервное”.

Близкое ознакомление с этими четырьмя типами болезни, с их признаками и процессом развития поможет иметь достаточно точное представление о медицине. Кроме того, сведение болезней к четырем основным типам облегчает вопрос о диагнозе и помогает пациенту почти

безошибочно определить свой недуг.

Болезни, таким образом разделенные на классы, узнаются по симптомам. Их особенно много в болезнях отдела "нервное" и часть их следует перечислить, как наиболее часто повторяющиеся: зуд, рябь в глазах и рябь по лицу: сыпь по телу и сыпь подмышками: малиновый цвет щек, позыв и недержание (то и другое различных характеров и от различных причин); ломотье в жилах; икота и хлопанье веками после плотной еды; драже-манже; удущье от камней в пузыре; стеснение в предсердии; усыхание в горле; перегар во рту, отвращение к спиртному, и подобные патологические явления.

Болезнь, имеющая обратный ход, отличается своеобразными симптомами повторного характера. Свойства этой болезни проходить и появляться вновь по какому то странному закону, который медицина до сих пор еще не может определить. Не нужно знать много о медицине и тратить время на тщательный диагноз, чтобы определить тип болезни, когда слышатся такие жалобы пациентов: "у меня от этих слов снова молоко бросилось в голову" или "боюсь, что моя грудная жаба опять просит пить".

Болезнь, загоняемая "во внутрь" почти не подлежит точному распознанию, не столь по ходу своего развития, сколь по тому, как она загоняется внутрь. Существует даже несколько различных мнений, которые, впрочем, сходятся на одном, а именно, что болезнь загоняют сами врачи. Никто еще не проследил точно, как это делается, что и объясняет наличие различных

суждений. Самое крайнее из них стремится представить это в форме, чуть ли ни напоминающей остервенелых футболистов, загоняющих мяч в ворота. Такое грубое извращение только мешает разобраться в сложном вопросе и подойти ближе к его разгадке, а, кроме того, выставляет врачей в весьма непривлекательном образе. Другие полагают, что врачи почти не причем, что ~~когда~~ болезнь загоняется внутрь, все, что они делают, это принимают пассивное участие своим присутствием.

Ни то, ни другое мнение не верно. Врачи сами загоняют болезнь внутрь, но напрасно было бы спрашивать, каким образом они это делают. Никто из них не отважится раскрыть то, что является, пожалуй самой главной тайной их науки.

Загоняют врачи болезнь тихо, окружив кровать больного и заслоняя его от глаз родственников; посапывая носами и переглядываясь, они постукивают его молоточками то в области предсердия, то в области двенадцатиперстной кишки, то щупают его подмышками, слегка приподымаю и встряхивая, и снова опуская на подушки. При этом врачи прислушиваются к тому месту, в котором они пропускают болезнь, смотрят друг на друга выразительно, и вновь начинают постукивать и прислушиваться.

Встревоженные родственники, зная, что происходит, стараются подать из за двери знаки предостережения, что обычно бывает излишне; больной и сам знает, что с ним делают врачи, но он так загипнотизирован их ловкими манипу-

ляциями, так заворожен их злодейской игрой, что ему даже делается приятно лежать в окружении врачей, и он только ради этого готов махнуть рукой на все последствия.

В отличие от болезни, загоняемой врачами, болезнь, которая выходит наружу, делает это сама по себе. Происходит это после того, как пациент так опрометчиво дал врачам загнать болезнь внутрь. После этого он кинулся к врачам, сперва к одним, которые отказались лечить его, затем к другим, которые приговорили его. Казалось бы, все уже было проиграно, и вдруг — как это бывает часто — болезнь выходит наружу.

Как это происходит — тоже в точности неизвестно, да и вряд ли когда либо будут точно установлены все факты, сопровождающие этот процесс.

Врачи, между прочим, ничего не знают о болезни, которая выходит сама по себе наружу; их даже нечего и спрашивать, они в лучшем случае или отмолчатся, или так затенят вопрос, что даже будет неловко за них.

За то на опыте пациентов можно составить огромную научную литературу, посвященную только этому типу болезни. В этом случае не столь важны симптомы, сколь последствия хода болезни в рассказах самих больных. Некоторые образцы можно представить здесь: “У меня болезнь вышла наружу плевритным гноем через указательный палец”. “Оригинально у меня с организмом: врачи уже приговорили, а болезнь возьми да и выйди сама по себе. И знаете как?

— через сыпь подмышками! “ Я бы уже давно почивал на погосте, если бы моя болезнь не вышла наружу, и тоже оригинально — через золотушное ухо ! ”

Декабрь, 1940
Сан Франциско

И

Таял глетчер

Таял глетчер, и от синего потока ледяной воды рушился гранит скал. От необъяснимого изменения на океанском дне неудержанно отклонял свое течение Гольфштром. В непроходимых джунглях Юкатана археологи исследовали города майев и нашли в них неопровергимые подтверждения гипотезы доктора Франца Блома, положившей начало цивилизации древней Америки в Америке, в не в Азии, Полинезии или Атлантиде. Группа инженеров и геологов производила последние расчеты для постройки дамбы через Татарский пролив, которая должна была отвести холодное течение к берегам Японии, а теплое — к берегам Дальнего Востока и снова превратить его в субтропический край. У массивного залежа горного хрусталия устанавливались огромные сверла, и такие же мощные машины для вытачивания линзы для величайшего в мире телескопа, который должен был приблизить землю к другим планетам на невероятно близкое расстояние. Группа ученых рабо-

тала над раскалыванием урания, чтобы реализовать новую, еще непознанную чудовищную силу. Тяжелые аэропланы, размером в броненосец, забирались легко и увлекательно в стратосферу, хотя под ними каждый год ровными треугольниками летели к теплым местам стаи журавлей, певших в темном небе серебряными трубами хвалебную песню земле...

...Таял глетчер... а, впрочем, не все ли равно!...

Октябрь, 1938
Сан Франциско

Любовь к близким

На этой пестрой улице, одной из самых интересных в мире, его фигура является малой, но неотделимой частью ее сложного характера. Нельзя сказать, что если бы его не было, улица потеряла бы что то свое, но в галлереи типов Филмора, как в кунсткамере, он занимает свое особое место.

Он идет с трясящейся головой, путаясь в полах не по рост длинного пальто, сгибаясь под тяжестью мешков с провизией, и редко поднимая глаза от заплеванного тротуара.

Выход на Филмор он делает регулярно, каждый день в один и тот же час. Он бредет неспеша, останавливаясь только у витрин, чтобы посмотреть на цены, качает сердито головой, бормочет про себя и с тем же недовольным видом идет дальше. Вид недовольный у него только наружу, внутри же он живет привычным теплом давно лелеянной мысли. Как вчера, позавчера, год и десять лет назад, он перебирает в голове одну и ту же приятную и даже ставшей любимой мысль: "кого бы мне засудить?"

Старый кусок жизни был привычным: служба в акцизном или тарифном учреждении, мелкие столбцы цифр, от которых рябило в глазах, толстые, сшитые “по гроб” зеленые диагоналевые штаны с выпяченными от долгой носки коленями, фуражка с кокардой, что давало ему самому недостижимую для других, включая его семью, высоту.

Кроме диагоналевых штанов и цифр, как при-даток к ним, была семья. Рождались и росли дети, совершались семейные праздники, на которых подвыпивший Иван Петрович вставал, ма-хал в воздухе рукой и неизменно говорил:

— Пью здоровье своего распонаединственного сына.

Когда выросли и поженились дети, он так же вставал в дни семейных праздников и говорил:

— Пью здоровье распонаединственного внука.

За внуком следовала распонаединственная внучка и распонаединственный младший внук. Иван Петрович так же махал рукой, выпивал, и тогда казалось тем, кто не знал его, что все хорошо и приятно на его душе, что ничто не мучает и не лелеет его в то же самое время. Он оглядывал сидевших за его столом, стараясь припомнить, что можно было поставить в вину любому, за что можно было бы его отдать под суд.

— Да что ты, право, — говорила его жена, знаяшая по его виду, что волновало и радовало его, укладываясь с ним рядом на высоко всби-тых подушках, — все бы тебе отдать под суд! Так, ежели засудишь всех, не с кем будет са-

диться за стол, да и служить не с кем!

Иван Петрович не отвечал на это; он упирался сверлящим взглядом в лампаду в углу и думал вскользь о жениных словах, что второе дело, если не с кем будет сидеть вместе, гораздо важнее, что можно кой кого вывести на чистую воду и засудить.

Говорили ему и сослуживцы, зная об его сокровенных мыслях:

— Что же ты, Иван Петрович, насчет суда и пятое-десятое... Так можно и того, и самому... Вот ежели как разобраться, почему жмыхи не по тому тарифу пущены, да почему у Ивана Петровича дом выстроился сам по себе, так и того, — и фраза заканчивалась выразительным свистом.

— Ничего, — усмехался про себя Иван Петрович, — поздно про жмыхи вспоминать, да и дом не на меня записан! А вот как я доберусь, да изложу про каждого...

Потрясения на родине, эмиграция, чужие страны, изменили его жизнь только наружу. Где то в этих потрясениях были потеряны диагональевые штаны и фуражка с кокардой, но сводки мелких цифр, пыльные кипы тарифных сводок он сохранил при себе, в твердой вере, что все вернется вспять и все будет подъитожено надлежащим образом.

Пока же он только лелеял мысль о том, когда он на самом деле доберется. Он перебирал имена знакомых, как и те, которые встречал в газетах, вспоминая, не было ли какого случая, чтобы можно было пришить любому из них.

Каждый денежный отчет в газетах он тщательно проверял, выщелкивая по несколько раз на своих конторских счетах, и если находил малейшую неточность, все в семье знали, что Иван Петрович дождался случая, и только соображает, как бы сделать это так, чтобы тот не только не отвильнул, но и получил наказание полной мерой... В такой день его обычно хмурое лицо прояснялось отдаленным намеком улыбки.

Он сворачивает с Филмора в боковую улицу и осторожно, открыв дверь и только просунув голову, заглядывает в темный и узкий проход. То, что он видит там, наполняет его пасмурную душу чем то, что можно было бы назвать радостью, если это не было бы оскорбительно для самого светлого чувства. Его лицо серьезно и строго, пока он всматривается, как в отдалении, время от времени появляется фигура старика в черном подряснике и скуфье. Иван Петрович вглядывается сквозь полумрак, и то, что видит, напоминает ему его самого: хмурое лицо, трясущаяся голова, глаза с затаенным огоньком неотвязчивой думы. Старик в скуфье останавливается время от времени, трясет раздраженно бородой, вглядывается пронзительно в кого то сквозь сумрак прохода и желчно бормочет: "я вам не дьякон Пегасов!"

Трясет головой и Иван Петрович, но трясет одобрительно, а по дороге домой совсем уже радостно повторяет про себя: "а засудит владельца дьякона, засудит!"

Не доходя до дома, он оглядывает знакомые

места, переходит улицу и поднимается по лестнице, навестить знакомого.

В передней он ставит мешки, разматывает шарф и проходит в комнату больного. Тот лежит огромной тушей на кровати, с одной стороной тела разбитой параличом, с покойными, ничего не выражаящими бледно-голубыми глазами; его живая рука, покоившаяся поверх одеяла, чуть двигает большими пальцами с раздутыми оконечностями и страшными, как черепашьи панцыри, ногтями мертвенно-сиреневого цвета.

За окнами гудят торопливые автомобили, звучит смех, разносятся над улицей звуки радио, раздаются звонкие голоса детей.

Больного кормят кашей. Он делает движение, поводя бровями в сторону окна, отводит глаза, уставившись ими на Ивана Петровича, и медленно произносит, делая ударение на “о”:

— Пороть их надо!

Иван Петрович передвигается на стуле, чтобы лучше расслышать слова, сказанные забитым кашей и полупарализованным ртом.

Больной еще раз смотрит на Ивана Петровича, его губы шевелятся вновь, и вместе с кашей вываливаются слова:

— Я их ненавижу!

И снова у Ивана Петровича разливается в груди радостное чувство, от которого он наклоняется вперед и одобрительно касается руки больного, его страшных пальцев с безжизненными плошками сиреневых ногтей.

Он возвращается домой, поддергивая верхней губой и похрюкивая от удовольствия, с прият-

ной смесью в голове, думая, что даже если он и засудит всех, кого хочет, все же останется несколько хороших людей, на кого приятно пося отреть и кого приятно послушать.

Март, 1939
Сан Франциско

Слеза

В зале Филармонии медленно тухнут огни и только сквозь теплые облака над головами людей горят скрытые сияния, отражаясь жемчужным светом на крышках роялей и высоких местах бронзового барельефа.

Медленно двигаются тени, от них становится то темней, то светлей в волнах теплого воздуха; приглядевшись остро сквозь полумрак, можно узнать в них Листа, Бетховена, Шопена, Чайковского...

Опускается голова пианиста, падают его волосы: он улыбается, хотя дрожат опущенные углы рта и что то блестящее, как слеза, виснет на красноватом веке. Кто то тихо и глубоко вздыхает в зале, касаясь взволнованной рукой холодной поверхности колонны; кто то нежно и стыдливо улыбается, как улыбаются только влюбленные; кто то мучительно вытягивает шею и поворачивает ухо, старясь с высоты галлереи уловить даже дыхание музыканта.

Призраки у колонн закрывают глаза и закидывают головы, проводя прозрачными руками по лицам, откидывая назад пряди волос и снова

складывая на груди руки. Отражения рамповых огней обводят жемчужным ожерельем черный лак рояля, в его живом организме что то плачет, скорбит, просит и требует, падает и тонким стеклянным звоном поднимается вновь...

Кто то тихо переступает с ноги на ноги, откидывает призрачной рукой со лба волосы, кто то стыдливо и счастливо улыбается; что то, подобное блестящей слезе, падает с красноватого века музыканта...

В зале зажигаются огни и ровный шорох ног поднимается над проходами; голоса, еще недавно сдержаные, крепнут в освещенном зале...

— Прекрасно играют, что и говорить !

— Это вы про кого, про черненького ?

— Да и вихлястый не хуже ! Не знаешь, кто даже похлеще. Но только нужно ли все это !

— Как изволите ?

— Да, вот, мода — концерт на двух роялях ! Или еще, скажем, этюд на черных клавишиах ! А то еще, слышал, какой то чудак концерт сочинил для однорукого или сухорукого пианиста ! Вот точно не помню, для кого ! Поди трехпалого тапера за пояс заткнет, хотя и одной рукой !

— Ну, это вы крайностей касаетесь ! Который ежели с музыкальным образованием...

— Да что с образованием ! Если ты уж так чертовски талантлив, то тебе не надо двух роялей, а возьми да исполни это, например, на балалайке !

— Ну, вот, хватили, батенька ! Я еще понимаю,

сказали бы балалаечным оркестром.

— Оркестром, конечно, гуще. Что я имею в виду: один ведет соло, а оркестр вторит.

— С домрами?

— Ну; это уж как оркестр составлен.

— С домрами как то суховато получается — ограниченный инструмент, нет того треполо, что на балалайке получается, ежели еще в руке нет драже-манже.

— Да это верно, треполо — большое дело, нет его — нет и оркестра, сколько бы их там в рубахах и бархатных штанах ни сидело позади балалаек.

— Что хорошо с балалаечными оркестрами — играют знакомое, слушаешь и чувствуешь.

— Это в балалаечной игре самое ценное — вы это верно подметили.

— Для души, что то отечественное, свое, слеза накатывается, ежели еще под мухой! Как у нас, в свое время, играли и по нотам, и по слуха.

— Я лично предпочитаю, когда играют для слуха — понятней и, знаете, как то теплей.

— Я лично предпочитаю, когда играют для слуха, понятней и, знаете, как то теплей. Да еще как выпивши, чувствуешь тоньше, за живое берет, право, слеза накатывает!

С черного лака рояля исчезает блеск ожерелья, и с покатой крышки в прекрасный его организм скатывается липкая скука.

Ноябрь, 1940
Сан Франциско

Сила привычки

Его только что выпустили из тюрьмы после предварительного заключения. На улице лил проливной дождь, перемешанный с градом и снегом, дул сильный, сбивающий с ног ветер, от которого у него вздулся флюс.

Трамвай долго не показывался, а когда, наконец, появился, то был так переполнен, что даже не остановился на его углу. Он хотел перейти улицу и пройти два квартала, чтобы взять другой трамвай, но как только он ступил с тротуара на мостовую, проносившийся автомобиль обдал его с головы до ног холодной водой.

Наконец, он вернулся домой, в квартиру, из которой ушла любимая жена, и которая была накануне разграблена. Он повернул штепсель, но свет был выключен за неплатеж. Отсыревшие спички тлели и быстро гасли. В передней, на столике, около выключенного телефона, лежала краткая записка жены, груда неоплаченных счетов и оповещение, что за неплатеж выключили газ и воду.

Он прошел через пустые комнаты. В тусклом вечернем свете они казались одинокими и от-

талкивающими выдвинутыми ящиками комодов, столов, и разбросанными по полу вещами.

С трудом он открыл дверь на веранду, заставленную ящиками и ведрами с кухонными остатками. Сверху с перекладины, единственную сухого места на веранде, бросился мимо него ошарашенный кот.

Он взялся за сердце, слыша, как громко билось оно, и подошел к перилам. Внизу, в саду дождем были повалены посаженные им когда то кусты и цветы. В соседнем дворе тоскливо, как над покойником, выла собака...

Кое как разыскав в темноте свои вещи, он переоделся во что мог. Через полчаса, тщательно закрывая воротником летнего пальто (зимнее украли) еще более вздувшуюся щеку, он шагал по мокрым улицам.

А еще через полчаса он держал бокал в Русском Клубе и неистово кричал “С Новым Годом！”, “С новым счастьем！ Ура！”

Так можно было бы начать легкомысленно-оптимистический роман из нашей жизни, если бы автор, познакомив кратко своего незадачливого героя за час до Нового Года, хотел бы проследить его, не в меру грустную, но и не в меру легкомысленную жизнь до следующего вечера, опять до утра и т. д., пока он, полностью наделенный всем, чем полагается такому герою, не сошел бы со сцены в припадке оптимизма или такого же буйного пессимизма.

Такой оптимистический роман можно было бы

снабдить политической идеологией, гражданской грустью, прогнозами будущего, обычно развитых из новогодних резолюций и скрашенных общими пожеланиями нового счастья, сразу же после того, как обессиленный неистовыми криками ура наш герой опустится на стул и с прозорливостью еще кружившейся головы заглянет в не-посредственно лежащее перед ним будущее.

Увы, автор боится (да не только он один!), что герой до странности сойдет за первого же встречного, который сегодня, прикрывая щеку воротником или мучаясь от припадка ишиаса, пойдет **на** встречу Нового Года, где с потрясающей верностью деталям, граничащей с недостатком оригинальности, повторит то, что, повторял в прошлом году, в позапрошлом, пять лет тому назад, и десять, и так вглубь лет, где он **видел** себя еще молодым, только что начавшим жить человеком, беспечным и радостным, **как** "златокудрый Феб"...

Январь, 1941
Сан Франциско

Отдайте моего ребенка

Вдумчивые читатели газеты были глубоко поражены видом двух известных пианистов, фотографии которых были помещены в одном из субботних номеров с объявлением о их концерте. Вид пианиста, с его тонкой улыбкой, казалось, говорил, что все в прошлом и возврата нет. На пианистку нельзя было смотреть без содрогания сердца: в ее лице и невыразимо печальных глазах все, казалось, сливалось в одном душе-раздирающем вопле: “берите мои вещи, но отдайте мне моего ребенка!”

Сердобольные читатели, тронутые страдальческим видом известных дуо-пианистов, долго ломали голову над тем, что могло наложить на их одухотворенные лица безошибочный след такого невыразимого мучения. Одни выражали мнение, что пианисты, по самой сути своей тонкой натуры, люди с рано надломленной душой, страдающие бременем явно неизлечимого пессимизма. На это возражали другие, указывая для поддержки своего мнения на сотни фотографий, расклеенных по трамваем и помещенных в магазинных витринах, с которых глядели

жизнерадостные, даже веселые лица пианистов, отвергая таким образом мнение о пессимизме.

Другие выдвигали мнение, не лишенное оригинальности, связывая грустные лица пианистов с теми исторически уже отдаленными проблемами, с которыми приходилось встречаться некоторым национальным меньшинствам, особенно, как они говорили “на магистрали Одесса-Жмеринка-Голты”. Они стремились доказать, даже вопреки своей же предпосылке об “исторически-отдаленных” временах, что пианисты своими невыразимо печальными лицами на страницах русской газеты хотели этим как бы выразить молчаливый укор прошлому и дать понять русским читателям, что если они сами и родились за пределами этих исторических времен, они все же не перестают сокрушаться над печальными явлениями.

Сторонники теории меньшинства сами чувствовали себя непрочно в своем мнении, отдавая отчет, что в ней была большая натяжка.

Люди с практической жилкой пытались найти объяснение по своему, указывая на то, что пианисты опасались, как бы не сорвался их концерт, поэтому и вышли на фотографиях с такими страдальчески-озабоченными лицами.

Так как это объяснение было наиболее правдоподобным, то на этом и кончился бы вопрос о причине невыразимого страдания пианистов, если бы один из них не позвонил в кассу театра, где ему ответили, что все билеты проданы, за исключением нескольких стоячих мест. Затем, в вечерней газете, опять появилась фотография

пианистов с таким счастливым видом, что никакого разговора не могло быть о каком либо страдании или неудаче. Фотография была, как для паспорта, и там, где должны были бы начинаться его брюки, уже в самом тексте газеты, можно было уловить движение пианиста, как он довольно потирал руки, приговаривая при этом: "славно, славно, опять битковый сбор!"

Но когда они переводили взгляд с вечерней газеты опять на субботний выпуск русской, они не могли не заметить удручающей метаморфозы на лицах музыкантов. Что было причиной, так бы и осталось тайной, если один из них не прочел бы вслух несколько фраз из газетных заметок, помещенных по обеим сторонам фотографии.

Вот что он прочел:

"Танцовщица в танце показала интригующий кусочек современной науки..."

"Сегодня, все пришедшие на масляничный университетский бал-кабарэ, будут иметь широкую возможность действительно отдохнуть от всех забот на оборону, а также и от своих домашних... Профессиональные труппы артистов будут исполнять номера не только на сцене, но также сходить в публику и петь между столиков. И вдруг какая нибудь эдакая смазливая гаваянка подойдет к вашему столику и начнет бедрами передавать чувство радости и восторга. И забыв на своем столике горячий пышный блин в сметане, забыв все на свете, вы пройдете с красавцем с университетским образова-

нием тур-два румбы или еще там чего... ”

Загадка скорбных лиц такими образом была разгадана! И если бы читатели, только что вслушавшись в прочитанные строки, взглянули бы на свои лица, они были бы поражены немение печальным видом их. И уже никакие выразительные бедра — свои или чужие — не могли бы заразить их чувством радости и восторга.

Если так загрустили и запечаловались лица на механической фотографии, то каким страдальческим должно было выглядеть лицо редактора?

Но когда увидели его за редакторским столом, заваленным кроме листов рукописей различными мешочками с чаем, фруктами, сахаром, кренделями, то ни о какой скорби не могло быть и речи. Лицо редактора было упитано, приятно и в меру глубокомысленно! Он выправлял материал успешно и деловито, передельвая на ходу строки стихов, водя синим карандашом по статьям с легкостью, вызывающей робкое преклонение. Он запнулся раз, дойдя до слова “зад”, которое столь неприятно поразило его, что он даже дважды отхлебнул от чашки чая, выпятив при этом еще глубоко-мысленное нижнюю губу. Но он запнулся только на мгновение, так как зачеркнув слово и вписав сверху “торсо”, он снова погрузился в работу.

Не было никаких сомнений в том, что редактор не только обладал возвышенным чувством, но и умением по своему скрасить материал.

Вот он неспеша дочитал некролог, и уже окунул в чернильницу перо, чтобы под заглавием

“Умер Член Ревизионной Комиссии” вписать крупным почерком, подчеркнув затем строку “Грибков покушал”.

Он сидел за своим столом так внушительно, только по временам, не отрываясь глазами от материала, отклонялся назад и чуть в сторону, пока его рука ныряла под стол и там, как из бочки счастья, вылавливалась то большое наливное яблочко, то пирожок, то шанешку, а то просто сдобный калачик, и ничего не менялось на его приятном лице, пока он жевал и читал материал, за исключением нижней губы, которая никак не могла сразу принять глубокомысленное выражение.

Май, 1943
Сан Франциско

Не было еще случая

Вся концепция его жизни была чрезвычайно проста и понятна, и исходила из основного кондака : “ не было еще случая ”.

Укрепилось это в памяти с тех дней, когда был еще жив отец, слава об исцеляющей силе которого при посредстве натуральных тибетских и китайских трав гремела далеко за пределами уезда, и особенно бережно поддерживалась Козодоевым-сыном, хотя он сам и был лишен этого высокого дарования.

Особенно чудодейственны травы были в борьбе с запоем и подобными алкогольными слабостями, и там, действительно, “ не было еще случая ”, чтобы добросовестно прошедший положенный курс лечения целебными травами, не избавлялся бы от своего пагубного пристрастия.

Исцеляющая сила Козодоева-отца росла и крепла и уже доходила до такой славы, что целые полчища чаящих исцеления начинали стекаться в его уезд, напоминая ревностные паломничества, в которых, кроме одержимых, кликуш и юродивых, были спившиеся актёры, стыдливые от запоя чиновники, купеческие сын-

ки с повыдерганными бородами.

Слава росла и уже ожидали приезда двух губернских знаменитостей, чиновника особых поручений при губернаторе, посланного на предмет испытания самим патрном, дабы в случае если и неполного (чиновник страдал редкой формой затяжного характера, присущей передовым людям девяностых годов), то хотя бы частичного исцеления, пройти самому курс лечения.

Вторым готов был предстать перед исцелителем соборный протодьякон, державший свою изумительную октаву на изумительных низинах алкоголем и, очевидно, в силу этого где то перестаравшегося.

Действительно, “не было бы случая”, если к приезду знаменитостей искусный целитель не был бы сам подвержен тяжелому припадку сладко-мучительного недуга.

В полутемной комнате от спущенных штор, душной от наглухо закрытых окон, с полусветом, скользящим по пузатым склянкам на полках, в которых бережно хранились от непосвященных трава шепетуха, бодень и синь-цвет, корень бодяга, дженышень и кора туи; в подштанниках, в разорванной на груди рубахе, с неузнаваемо опухшим лицом и оттекшими руками, грузно сотрясаясь от бесзвучного смеха и стыдливо оглядываясь по сторонам, он останавливал свой равномерный ход у поставца в углу, в котором были запрятаны графинчик и нарезанное на тонкие ломтики яблоко...

И пока Козодоев-сын у крыльца сдерживал

чаящих исцеления, торопливо приговаривая, что “папенька еще не пришедши в себя”, из великого далека уже раздавался величественный звон меди: “в тот день, когда задрожат стерегущие дом... и перестанут молоть мелющие... и помрачатся смотрящие в окна: и высоты будут им страшны и на дороге ужасы, ибо отходит человек в дом свой”, для Козодоева-отца окончательно оживали тибетские травы, творя фантастический мир в мучительно-сладких волнах и великолепнейших складках надвигающегося тумана, где то исчезал, то вновь появлялся огромный зеленый змей, тщетной борьбой с которым были заняты его последние земные минуты...

Июнь, 1940
Сас Франциско

Голубая Падь

Чудо было в том, что так быстро разрослась сказка для взрослых, увлекательная, захватывающая дух, в которой все забывалось, кроме того, что она только еще началась и что далеко было до ее конца.

Многое способствовало ее развитию. Одной из главных причин был сам дом, в котором когда-то жила богатая иностранная семья, большой, барский, полный глухих комнат, пока они были пусты. Затем въехали новые жильцы, полнокровные, напористые, которые не только внесли новый дух, но сразу же вытеснили все то, что еще недавно обитало в пустых углах дома.

В сказке разрослась пышная жизнь, не жизнь, а сама сказка на таком головокружительном взлете, до которого было далеко даже упомятально-увлекательному миру светлейших князей и французско-балканских графинь, порожденных крылатым пером Брешко-Брешковского.

В чудесном процессе развития сказки создалось несколько отдельных мифов. Один из них, захвативший особенно сильно не только самих создателей его, но и слушателей, был миф о Голубой Пади, помещичьей усадьбе, где то на неопределенных географических местах, то на

берегу большой реки, то на высоком обрыве, то у начала вековой пущи, что, конечно, не так важно!

Главное место в мифе уделялось самой жизни в барском доме, в рассказе неопределенно очерченном руками, чтобы определить форму архитектуры, виденной в кинематографе, или где то на фотографии.

В повествовании о волшебной жизни, время от времени, вкрапливалось, что “мой папа сам аристократ”; затем описывался паркет, амфилады комнат, антресоли, люстры, что звучало красиво и в тон самой сказки... Были липовые аллеи, по которым подъезжали к дому в английских колясках... Неповторимая сказка о Голубой Пади...

Для прочного утверждения мифа призывался в живые свидетели старый граф, облезший, как выношенная меховая шуба, постоянный завсегдатай, который, по выражению дам, подвигался в салоне. Делал это он несложно, почти не отходя от чайного стола, особенно от угла, где была выпивка. Он был единственno верной фигурой в салоне, но и с ним случилось что то такое, что все, что осталось у него от прошлого,казалось застряло в его остром кадыке, в картиавящем рокоте “р”. Его запросто звали “старый гаф”.

Параллельно мифу о Голубой Пади рос миф о роскошной гвардейской жизни.

— Мой папа сам военный... из гвардии... папа командовал, не помню только вот чем... Мы на парадах всегда получали приглашение в царский

шатер... Тут и семья, кругом свита, гвардейцы, а папа там, командует... Потом завтрак на фарфоре с коронами, кругом золотое шитье...

Все было верно, и то, что папа из военных, и что он командовал, особенно, золотое шитье! Все верно, ничего нельзя сказать против... Был на Подоле, под Киевом, магазин офицерских вещей, известная фирма Давида Лазаровича (“сам пан комендант заказывал! ”), где папа командовал подмастерьями, работавшими канителью по золотому шитью для погон и темляков.

Был и ошеломляющий театральный успех, шумные аплодисменты, море цветов, поклонники, клятвы любви, роковые увлечения (“он все грозил прихлопнуть себя в грудь пистолетом из за меня! ”).

С театральным успехом росла и развивалась сказка, сладкая и дурманящая.

— Я так играла, что дрожал театр...

Дрожал не только театр, но и все, что было на полустанке, когда с разъезда Шестая Верста подавали товарный состав.

В процессе развития сказки — бывают они и с дурным концом!, как то само по себе получалось, что через чудесное прошлое прорывалась не Голубая, а Горелая Падь, и что она была не помещичья усадьба папы аристократа, с аллеями и английскими колясками, а часто горевшее от пьяных мастеровых предместье глухого города, куда вела пыльная дорога, по которой изредка,

когда оставался в кармане полтинник, везли на ленивом ваньке нагружившегося папу с чиновничьих именин.

Иногда выходило так, что не выдёживал сам живой свидетель, старый гаф. Было это преимущественно тогда, когда опустошался стол с выпивкой и даже не оставалось чайной колбасы.

— Когда моей Ляле папа подарил часы, знаете, осыпанные... Вы бы видели, какой курорт она произвела ими !

Старый гаф отводил в сторону голову, чтобы там, над пустым столом, в молчаливом презрении пошевелить значительно кадыком, который, казалось, негодовал от того, что не мог справиться сразу с двумя “р”.

— У нас в столице была такая большая квартира, такая богатая, мой папа занимал ужасно огромную должность !, что дверь из моей спальни выходила в биллиардную... .

— Это что же, — отзывался тогда старый гаф, поворачивая облезшую голову и медленно оглядывая всех с видом человека, ущемленного в лучших чувствах, — было в т’акти’е ?

Но его голос был слишком слаб, чтобы нарушить дурманящее обаяние сказки. Его никто не слушал, понимая, что время от времени, как нужный ритуал, старый гаф должен был подвигать и повращать острым кадыком и порокотать буковой “р”, что придавало самому салону нужный эффект.

Март, 1942
Сан Франциско

Дилижанс из Рима

Заседание шло третий час. Разбираемый вопрос был настолько важен, что собралось все правление, случай отменный тем, что этим сборм само общество было поставлено в чрезвычайно двусмысленное положение: не осталось ни одного свободного члена общества. Правление поэтому и разбирало вопрос, как пополнить то, что фактически перестало существовать.

— Господа, — обратился к собранию с приятной улыбкой председатель, — после того, как я представил вопрос по существу и в общем и, так сказать, высказал свое мнение, я просил бы господ членов так же выразиться по существу и в общем, и, так сказать, высказаться по вопросу, чтобы можно было внести и потом зачитать в протоколе.

После значительного молчания, во время которого каждый крепко обдумывал поставленный председателем вопрос, поднялся член правления.

— Чтобы не высказываться фор нотинг, я предложил бы просмотреть старые списки господ членов, и которые вышедши по причине возраста или по слабому состоянию здоровья,

и уже некоем образом несуществующие, царство им небесное!, я предложил бы правлению удержать таковые имена в списках пожизненно почетных членов.

— А как, позвольте задать вопрос, насчет перевыборов, ежели кто либо из них возьмет и выставит кандидатуру?

— Да Господь с вами! Это же вышедшие из обращения. Мертвые, но живой инвентарь постольку, поскольку списки общества полные. Держать их в списках только на предмет количественного, так сказать, значения...

— Я бы на всякий случай прибавил, — значительно отозвался другой член правления, — без права решающего голоса... Мало ли что...

Незадолго до этого, за окнами, на холодной улице, сквозь туман, катившийся с горы со стороны океана, показался дилижанс типа, на котором совершались далекие поездки в Европе в середине прошлого столетия. Дилижанс остановился у подъезда здания, и с него сошел господин в поношенном плаще, боливаре и мягких козловых ботинках.

Пока он поднимался по лестнице, он несколько раз услышал слово, которое послышалось ему как “джатоторе” или “джаниторе”. Остановившись у двери, ведущей в зал собрания, он задержался около человека, сидевшего за столом под надписью “секретарь”.

— Это что же у вас, — обратился незнакомец к секретарю, — все говорят по итальянски?

— Никак нет, — отозвался секретарь, посмотрев внимательно в сторону, куда показал голосовой незнакомец, — это все служащие по уборке. Щетоводы. Джаниторы. Ежели вы на собрание, то на повестке дня вопрос о пополнении выбывших. Прошу.

Секретарь поднялся из за стола, высокий и тучный, в костюме не по росту малом, который почему то показался незнакомцу фраком, из которого вырос человек. Что то знакомое показалось в лице секретаря, во всем его объеме, особенно в слове “прошу” и в том, как он шоркнул ногой в огромном четыреугольном сапоге.

Незнакомец отошел, но у самых дверей остановился, чтобы еще раз долго и внимательно посмотреть на секретаря, словно желая воскресить в памяти давно стершиеся черты.

В зале собрания никто не обратил внимания на вошедшего, никто не заметил ни его задумчивого лица, ни старомодного костюма, так как все продолжало быть сосредоточенным на важном вопросе собрания.

Пока шли обсуждения, незнакомец стал рассматривать собравшихся. Сперва он это делал с интересом случайно попавшего к чужим людям человека, но с развитием обсуждений, он становился не в меру грустен и задумчив. Он подолгу останавливался на лицах с видом человека, мучительно старавшегося припомнить знакомые черты, которые память успела сгладить. Не менее, чем секретарь, поразил его член правления, несколько раз за короткое время успевший вста-

вить в свою речь выражение “фор нотинг”.

— А вот на этот счет, — обратился опять к правлению председатель, — интересно будет запросить нашего члена правления. Вы, как юрист, поможете нам разобраться со стороны закона. Вот, ежели, так сказать, все эти выбывшие по причинам независящих, но еще продолжающие числиться в списках общества, наберутся духу — а их уже идет на вторую полусотню!, да к тому времени, как мы создадим похоронную кассу, возьмут всем кликом или, как еще сказать, всем причтом, да сообща и подадут на воспомоществование! Не они, а которые родственники в живых. Как вы полагаете?

— Вопрос поставлен правильно. Действительно, как бы не обсуждали фор нотинг!

— Я так полагаю, — отозвался член правления, к которому за советом обратился председатель. Он сделал длинную паузу, обвел всех присутствующих медленно глазами, словно хотел показать, какие у него были густые брови, но они никого не поразили, кроме незнакомца, который даже приподнялся с места, чтобы получше рассмотреть их.

— Конечно, как умершие они и подлежали бы похоронному воспомоществованию, ежели ко времени их преждевременного отбытия у нас, так сказать, была бы уже создана похоронная касса. А поскольку она еще только в проекте, то тут как ни соберись, кликом, скопом или даже причтом, сомнительно, чтобы того...

Юрист еще раз обвел бровями всех присутствующих и выразительно повел ими, чтобы до-

полнить то, что не мог сказать словами.

— Даже ежели, допустим, и накинулись раньше времени на воспомоществование, — небрежно заметил другой член правления, оторванный от игры и жаждущий опять вернуться в карточную, — ежели бы обратились, и довелось бы платить, то можно было бы рассчитаться борзыми щенками!

— Эффектная мысль!, — отозвался другой член правления.

— А как, — обратился председатель к собранию после долгой паузы, во время которой каждый, казалось, обдумывал удобный способ расплаты, — как на этот счет думает Дамский Кружок? Попросим по этому вопросу высказаться председательницу, мадам Воробей. Елизавета Андреевна, прошу вас высказаться по существу и вообще...

Еще при упоминании о расплате щенками, даже раньше, когда поднялся юрист и обвел всеми своими бровями, незнакомец был в настолько в заметном волнение, что даже вставал с места, чтобы лучше рассмотреть их лица; но когда было упомянуто имя председательницы кружка, он пришел совершенно в замешательство. Вскоре показалось, что память его начала воскрешать то, что было так давно, что она успела почти совсем вытравить.

Он хотел опять встать и подойти ближе, даже обойти каждого и всмотреться внимательно в

него, но в это время снова раздался голос.

— Всё опять засиделись фор нотинг, не порешивши вопроса. Кому сидеть, а нашему брату, джаниторам, идти на ночную работу.

— Вот, ведь, как странно, — почти вслух сказал незнакомец, проведя рукой по высокому лбу, словно отгоняя навязчивые мысли, — неужели этот “фор нотинг” мой бывший почтмейстер, что тогда к слову или не к слову прибавлял “шпрехен зи дейч”? Конечно, времена изменились, не все же время держаться одной привычки! А как про борзых сказано, да и тон тот же, совсем Ноздрев, не может быть сомнений! А как рвется в карточную, поди, тоже, если не пересчитывать самим его взятки, так и играть с ним нельзя!

В порыве неудержимого волнения он вслед за другими направился к выходу. Проходя мимо секретаря, все еще сидевшего у двери, уже у самой лестницы он остановился и долго посмотрел на него, не столь с любопытством, сколь с задумчивой пытливостью. Он почти уже направился вниз по лестнице, но повернулся, и, заглянув выразительно секретарю в глаза, строго спросил:

— Эта, вот, Елизавета Воробей, не та ли, сударь, что вы сплавили, как мужика, включив в реестрик мертвых душ для купчей крепости господину Чичикову?

— Председательница кружка? Не упомню-с! Давно было, никак не упомню! Ежели желаете справочку, подайте докладную, правление разберется!

Спускаясь по лестнице, незнакомец никак не мог удержать своего волнения. Он нетерпеливо вглядывался в лица, останавливался, и снова обгонял людей. — Подумать только, — почти вслух говорил он, — не может быть, чтобы только совпадение! Как верны все в чертах, в выражениях! Кто бы мог сказать, что за эти сто лет никто из них не изменится!... Только и перемена, что по службе, как будто хуже, чем следовало, тогда то все были в чинах и с положением... Но что же поделаешь, — поспешил он уверить себя, — верно, что же поделаешь, времена не те! Только одна Елизавета Воробей заметно продвинулась, подумать, председательница кружка!

Он вышел на улицу, чтобы опять сесть в дилижанс. На другой стороне улицы стояло два человека с ящичками в руках, которых издалека можно было принять за крохотные детские гробики, но которые вблизи оказались металлическими ящичками для завтрака.

— Как бы не вышло того, что ждем форнотинг, — заметил один из них, поглядывая вверх на гору, откуда из за поворота должен был показаться трамвай.

— Дождемся, не к губернатору на прием, а на ночную, а до ней еще далеко! Сколько у вас этажей качать?

— Четыре, да еще, под праздники, могут привавить один.

— Как и у меня, — вздохнул другой, — и в темноте было видно, как он печально повел густыми бровями...

Усаживаясь опять в дилижанс и подминая под себя плед, незнакомец — это был Николай Васильевич Гоголь, все никак не мог оторваться глазами от угла, на котором стояло два человека. Он был не в меру грустен и задумчив.

— Псдумать только, сто лет, а как будто ничего и не произошло ! Те же лица, и все вместе, вот, ведь, что поразительно ! Жаль, что из всех только один Ноздрев как будто у своего дела, при картах, а остальные все как то хуже.. Да еще Елизавета Воробей двинулась вперед. Кого особенно жаль, это прокурора, в годах, а идет на ночную работу... А брови, действительно, те же ! Просто поразительно !

Октябрь, 1942
Сан Франциско

Американская трагедия

Лица людей часто напоминают зверей: у женщин, стоявшей в линии вокзальной кассы, узкое лицо улыбающейся мыши, вытянутое вперед от носа к затылку и приплюснутое от подбородка к темени, с открытым рядом маленьких острых зубов. Многие человеческие лица были бы более естественными, если покоились бы на шеях овец, кошек, медведей, лошадей.

У этого, например лицо слона, доброго и глупого, словно довольного, что его переместили из джунглей на станцию автобусного дэпо.

Они обычно приходят сюда в полдень на завтрак. В одной руке он несет мешок, на другой тяжело висит его жена. Они садятся на скамью и принимаются за завтрак. Он открывает мешок и опускает туда руку. Она поднимает свои круглые брови, собирая ряд мелких складок на маленьком лбу, отчего кажется, что ее черные глаза выкатываются еще больше из орбит, и торопится заглянуть в мешок, что делает его рука там. Поводя носом и довольно хлопая влюбленными глазами, он передает ей ее сандвичи, пока она торопится посмотреть, что в ее свертке,

и что в его с тем неудержимым любопытством, словно все зависило от того, что было у каждого. Он медленно пережевывает свой сандвич, не переставая улыбаться доброй улыбкой ; его нос опускается ниже двигающихся губ, и тогда напоминает хобот, дополняя последнюю деталь к любопытному рисунку слона.

После еды ее куриные глаза сводятся в узкие щели и она укладывает голову на его плечо. Она была врожденная рабовладелица, все, что было на нем и вокруг него, все это было ее : сандвич, его руки, его плечо. Все, что было у этого доброго и неуклюжего слона, было ее.

Вернувшись домой и принеся все ее пакеты и свертки, он вооружается консервным ключом, одевает фартук и берется за банки консервов ; выносит помойное ведро, забитое ее тряпками, рваными чулками, пустыми консервными банками и коробками.

Перед обедом он подбирает ее журналы, разбросанные вокруг ее тела, лежащего на диване, ее шляпу, перчатки, сумку, наспех сброшенные туфли с затекших ног с вспухшими ступнями. Когда готов приготовленный им несложный обед, он идет к дивану, чтобы поднять ее тело, обвисшее в его руках. Делает это он с тем же довольным движением носа вверх и вниз, не сводя со своего доброго лица счастливой улыбки. Запыхаясь и подгибаясь под тяжестью ее тела, он приносит ее в кухню, где она с тем же звериным любопытством в круглых выкаченных глазах заглядывает во все кастрюли на плите, хотя содержание их консервного обеда почти

никогда не меняется.

После обеда он относит ее обратно к дивану, где она некоторое время лежит с полузакрытыми от еды глазами, но уже нащупывая вокруг себя журналы. Он же возвращается в кухню, где с примерной любовью и нежностью, с горячей признательностью к своему Создателю и всему, что создало его счастье, принимается за мытье посуды, перетирая ее и ставя на полки в таком образцовом порядке, что даже самая требовательная рабовладелица удержится от применения кнута.

Малое количество времени, оставшееся у него — он еще успевает в мыльной воде вымыть ее чулки и воротничек на завтра, он использует на приготовление сандвичей, которые они будут есть на твердых скамьях дэпо. Он делает их с той же любовью и поразительной изобретательностью, чтобы доставить своей собственнице особое удовольствие такими сюрпризами, как лишний пласт соленого огурца, или колбаса, намазанная горчицей с обеих сторон.

Покончив со своей работой в кухне, он перебирается в гостиную, где его жена, к этому времени уже основательно настроенная романтическим напряжением журналов, готова предъявить к нему свои неоспоримые требования, и он, верный и послушный раб, примется за почесывание ее спины в указанных местах, массажирование ее вспухших ступней от хронического недомогания, причиненного обувью на два номера меньше; станет держать ее за руки, целовать ее полные губы и прижимать различные части ее

волнообразного тела, делая все это с терпеливой послушностью доброго слона.

Затем наступает короткий промежуток, пока он приготавляет массивную кровать, а она, полураздетая, скребет ногтями в лихорадочном движении голову, стремительно проглатывая последнюю главу, где описывается необыкновенная любовь в маленьком романтическом гнездышке, которое может с трудом вместить длинноногую секретаршу и жизнерадостного молодого директора личного состава, не теряющего времени ради ознакомления на практике с коэффициентом полезного действия служащих своей компании.

Постель ожидает ее, так как в ней уже лежит, нагревая место для нее, слоновообразный человек, с одним ухом придавленным к подушке, и другим, выжидательно хлопавшим в направлении повизгивающегося смеха своей рабовладелицы, довольной вне себя от развязки романтического похождения.

Развязку эту можно было легко предвидеть с первых же слов первой главы, детально описавшей обивку дивана, который, по мере развития событий, становился самым деятельным местом любовного гнезда.

Помещенное в женском журнале, это описание называлось бы подходом к женским интересам; помещенное же в мебельнообивочном журнале оно было бы модным подходом к декоративному искусству, прежде чем перейти к описанию пружин, рамы, набивки, гвоздей, всего того, что делает диван диваном.

Здесь же не было ошибки, что описание было

предназначено к запросам женского интереса, к тому же приготовленной постель, и ее неуклюжеборкий, но, как бойскаут, всегда готовый раб, отличным образом дополняли последнюю главу рассказа. Великодушная, как королева, она ложилась рядом со своим рабом, на нагретое им место. Теперь она могла продолжать незаконченную главу в своей собственной версии, ненограниченной ни числом страниц, ни размером журнала, ни другими требованиями, как, например, прервать повествование на самом интересном месте, чтобы продолжить его в новом номере на следующей неделе.

Она была совершенно свободна от всего этого; кроме того ее раб возносил безграничную благодарность всему, что могло быть только косвенной причиной такого огромного, даже для слона, счастья. Он продолжал свою горячую благодарность даже тогда, когда она ставила свои сине-ледяные ступни на квадратную поверхность его голой спины, чтобы согреть их, хотя первый момент этого змеино-ледяного ощущения всегда был для него острым испытанием.

Апрель, 1943
Сан Франциско

Искусство лепки

Случай подвернулся, когда подругам удалось повстречаться с скульптором. Можно было пожалеть, что это не произошло раньше, месяцев шесть тому назад, когда они появились в Холливуде в погоне за успехом и славой. Но все равно, отрезвление когда то должно было наступить ; это случилось, как завершение обманутых надежд, разочарования, а, главное, долгого и терпеливого ожидания.

Им самим казалось, что случай подвернулся верный, к искусству через искусство. В это же самое время случилось так, что скульптору понадобились две модели, и так как случай свел их троих вместе, то все должно было бы сработать самым замечательным образом.

Было назначено время и место встречи. Лучше всего подходила их собственная комната, которой наспех был придан вид студии. Скульптор, вислозадый человек с голубыми прышами, в штанах и пиджаке разного цвета, появился даже раньше времени.

Подруги опустили занавеси на окнах и скрылись за спешно натянутую простынью, пока

скульптор, найдя в яичке сигареты, бегло намечал основные этапы искусства, упомянув вскользь о великом Фидии, и не забыв Фрины, о значительности лепки в прошлых веках и влиянии на будущие. Подруги пытались вслушаться в его слова, но больше прислушивались к биению своих сердец; через несколько минут, стыдливо потирая розовые места от поясов и закрученных чулок, они появились, как две Афродиты.

Скульптор прищурял профессионально глаз, и так долго, еще на расстоянии, изучал их то из одного угла, то из другого, туша недокуренную сигарету и берясь за новую. Насытив профессиональное прищуривание, он сменил глаз, повторив в точности процедуру, и уже затем перешел к рукам, отлично тренированным в обращении с таким податливым материалом, как глина и тела моделей.

Скульптор заставлял подруг принимать различные позы, то в отдельности, то вместе, которые они, в простоте сердечной и ради самообмана считали античными, пока артист ходил вокруг, присаживаясь то на корточки, то пригибаясь еще ниже, чтобы, как говорил он, не только схватить скульптурный сюжет, но и захватиться им целиком.

Вся процедура с самого начала должна была бы показаться, по меньшей мере, глупой! У человека в продолжении долгого времени были незаняты руки, третий год тянулась безработица, так почему же не поразвлечься за счет двух простодушных девушек, готовых на многое ради святого искусства! В дополнение, его собствен-

ная, равнодушно-холодная жена обладала только одной страстью: грызть, как она говорила, этого ничтожного хорька поедом за то, что он не послушался ее родни и не открыл, когда они ей говорили, магазин химической чистки, а если и хотел следовать искусству, то лавку картинных рам.

Профессиональное прищуривание глаз и уверенные движения рук — скульптор одинаково обладал ловкостью обеих рук, привычно следовавших по контуру их тел, — не оставляли никакого сомнения в том, что они имели дело с артистом. С каким, они могли определить и сами, если бы, в молчаливом согласии, открыли бы свои глаза, или, наоборот, как требовал бы случай, прищурили их, и таким образом взглянувшись, назвали артиста именем, более пристойным ему.

Но сеанс продолжался, искусство двигалось вперед, как оно двигалось в продолжение веков. Перепробовав все известные ему классические позы и насытив сверх меры свои глаза и руки, скульптор принялся за “лепку”. Он выудил из кармана заранее приготовленный сверток ленты липкого пластиря и принялся при помоши ее выправлять те дефекты, которые можно было отнести не столько самому изъяну природы, сколько некоторому запасу лет, накопившемуся за плечами каждой подруги.

С помощью пластиря он придал их телам такую форму, что не только вернул их к тому времени, когда не нужно было никаких добавочных приспособлений, но даже пересадил их в такие отдаленнейшие времена, когда все на зем-

ле было непростительно глупо и молодо, и когда вся земля была населена только фавнами и наядами, резвившимися под одобрительным глазом самого Пана.

Трудно было бы сказать, что подобные мысли витали в голове скульптора; он был настолько занят лепкой, что не похоже было, чтобы такой деловой человек забивал свою озабоченную голову подобной дрянью; кроме того, он мог смешать имя Пана с "Пан-Америкэн", что, конечно, не привело бы его никуда; а слово "фавн" связывало его с определением особого рыжевато-коричневого цвета, который любила его жена и что делало его для него мало приемлемым.

После двух часов чрезвычайно увлекательного занятия — он даже не знал, куда утекло время! — скульптор вывел заключение, которое можно было бы ожидать вначале по линии его далеко недвусмысленного поведения: он был горячо благодарен им, не каждый день удается посвятить столько полезного времени искусству и его высокому зову, и так замечательно для всех троих, что им удалось встретиться и разделить это ревностное служение искусству, особенно когда он в лихорадочном поиске двух моделей, и как они подошли бы ему, если бы одна из них, блондинка, была бы чуть повыше, а брюнетка чуть чуть пониже, и что тогда можно было бы продолжить это служение искусству на основательное число сеансов...

Шторы опять были подняты, и день, чистый и невинный, заглянул смущенно в комнату, но

подруги уже были одеты, все еще со следами стыда, стараясь скрыть раздражение на коже, причиненное липким пластырем. Они не хотели признаться себе, что над ними была разыграна шутка, но с каждой минутой чувство стыда и досады росло все больше и больше в них..

Забавляя себя игрой с лентой пластиря, скульптор задавал им вопросы, которые относились к области, ничего общего не имевшей с искусством лепки, и которая должна была бы еще больше открыть их глаза на то, с каким артистом они имели дело.

С другой стороны, подруги знали, что сколько бы артист ни старался исправить их формы, им далеко было до Венеры Милосской и Афродиты. Они могли бы думать о том, что спустись со своего небесного Олимпа на олимп холливудский, они так же попали бы в руки холливудских артистов, с приготовленным, на всякий случай, запасом липкой ленты пластиря. Но мысли об этом и сравнение — даже отдаленное — не принесло бы им никакого утешения. Пере житый опыт, во всей его новизне и красочности, еще продолжал занимать их мысли, хотя на фоне безработицы ничего не было нового в том, что холливудские артисты еще могли находить применение своим незанятым рукам.

Июнь, 1937
Лос Анжелес

Лучшая из всех

Не могло быть никакого сомнения, что она была лучшая женщина во всем мире. Она была счастлива, когда счастлив был он, и молчалива, когда видела на его лице лишь тень захватившей его мысли. Она была внимательна и уступчива, легко поддаваясь его желанию и мысли, только одному их намеку, никогда не приставала к нему, если он сам не начинал говорить ей о чем либо, не досаждала его ни расспросами, ни требованиями.

Она становилась задумчивой и печальной, когда печальным становился он, так как известно, что печаль и задумчивость человек познал рано в своей жизни, в тот отдаленнейший день, когда впервые увидел заходящее солнце и на-двигавшиеся сумерки.

Так было с Адамом и его первой любовью, с той любовью, которая никогда больше уже не повторится на земле, так как она была, по-истине, первая и последняя.

Совершенно другой была Ева. Адам заметил это чуть ли не с первого момента, когда еще

спросонья потирая бока, в котором не нащупывалось двух ребер, он увидел рядом с собой новое существо.

После, уже привыкнув к ней, Адам часто думал о том, что как только появилась она, все было ей не по нутру. Он хотел найти этому причину, пытаясь объяснить тем, что у ней не было ни детства, ни юности, так как в момент своего неожиданного появления она уже была неопределенного возраста. Но это не останавливало ее от частых упреков, что Адам не только взял, но и погубил ее молодость.

Ева была переменчива и ластилась к нему только тогда, когда ее нужно было что либо, когда она хотела допытаться, сколько он зарабатывает в день и сколько у него было на книжке, хотя ей хорошо было известно, что тогда не было ни фабрик, ни банков.

Адам молчал. К этому времени он научился молчать и уходить в себя, наблюдая то за быстро бегущими облаками, то за ровным ходом реки, или следя, как за далекими пределами их сада печально заходило солнце.

Это раздражало Еву. Она всплескивала руками, подбоченивалась и восклицала :

— Мой то, мой ! Посмотрите ка на него ! Лучшего занятия нельзя найти, чем плятить шары !

Ее язык, а, главное, манера менять его, часто приводили Адама в недоумение. Она могла сказать и еще лучше, и никогда не стояла за острым словцом, но когда у них были гости, она принимала новые интонации и говорила не только Адаму, но и другим мужчинам, по большей ча-

стью даже мало знакомым, что “дама приказала”.

Ева была такой не только с Адамом. Она ссорилась с кем только могла и настраивала его против других. Она задевала даже зверей, над которыми сразу же приняла ложный тон необъяснимого превосходства.

— Поглядите ка на эту цацу, — восклицала она, подбоченившись, выпятив вперед живот и показывая только подбородком в сторону газели или серны. — Поглядите ка на это созданьице! Она думает, что у ней самые красивые ноги во всем мире! Если ей так сдуру кажется, пусть она посмотрит на мои!

Ее пронзительный голос и презрительный смех заставлял Адама поворачиваться, чтобы кинуть быстрый взгляд на ее ноги, и ему тогда мучительно становилось жаль своих ребер.

Или она восклицала:

— Полюбуйтесь ка этой мохнатой тварью! Подумаешь, хвастается своим пушистым хвостом и рыжим мехом! Как будто у других нет лучше волос!

Она бледнела от волнения, и медленно, с презрительной четкостью цедила: — Горжетка!

Естественно, что грациозные антилопы, олени и звери с пушистым мехом глотали молча обиду и отходили прочь.

Когда она начинала говорить быстрым пронзительным голосом, весь лес, до этого наполненный звонкими птицами, внезапно замолкал, так как не только невозможно было заглушить ее, но и не к чему было тратить певучие голоса

птиц.

Ева все рвалаась, чтобы подвернулся какой либо случай, чтобы потерять рай, и потом, через все века, упрекать Адама, что всему причиной был он.

Она так поставила себя, что скоро самолюбивые гордые звери, как львы, тигры, жирафы, насыщенные сверх меры ее голосом, ссорами и оскорблениеми, отошли в молчаливом негодовании, чтобы уже никогда больше не общаться с людьми. Только домашние животные, по истине, скоты, остались с ними, хотя и по сей день в их глазах, в печальном их выражении, можно еще уловить тень затаенного и уже непоправимого разочарования.

Вот почему Адам все больше и больше зашивался в себе и уходил в горы, чтобы там, слившись со скалами в серо-коричневом цвете и неподвижности, молча наблюдать за медленно заходящим солнцем и гаснущими в небе красками, и думать с еще большей остротой, волнением и болью о своей первой любви, благоухающей и благодарной, к нежной и чуткой Лилит, лучшей из всех, так как она жила только в его воображении.

Октябрь, 1943
Сан Франциско

Братец из города

Действие происходит за Великими Восточными Воротами, в Сеуле, на площаде, у поворота в сторону Юджанбу. Медленно наползают сумерки. На выгоне стоят волы, запряженные в деревенские телеги; один из них, горожанин, запряжен в телегу, нагруженную деревянными кадками с нечистотами.

Золотая пыль низко висит над городом, гул и грохот трамваев доносится со стороны Восточных Ворот. Под золотой пылью висит густой запах, составленный из трех частей: волов, погонщиков и густой смеси кимчи, корейского салата из квашеной капусты, красного перца и чеснока.

Разговор ведут только волы. Погонщики или курят молча, едят, или уже спят.

Вол-горожанин: Куда лезешь, любезный, куда прешь? Не видишь, кто стоит здесь? Деревня!

Первый деревенский вол: А ты что так расставился, словно тебе это пикник! Еще бы с газетой стал!

Горожанин: (Передразнивая, медленно, с расстановкой). С газетой! Эх, ты, деревня и есть! С га-зе-той! При таком освещении, да еще с мелким шрифтом!

Первый деревенский: Да я только пройти хотел, что же сразу и накидываться!

Горожанин: А ты не при, куда не следует! Виши, тут другая публика стоит, не чета деревенщине! И проваливай, нечего торчать у меня на глазах, вались от куда пришел! Я, может быть, на самом деле почитать хочу!

Второй деревенский вол: (В тон городскому). Почитать! Ах, ты, то-ня-га! Тебе бы, вот, еще электричество на выгон провести!

Горожданин: (Заносчиво). Проговори только у меня, я с тобой сейчас же посчитаюсь! Оскорблений я не спускаю! Так можно с вашим братом, деревенщиной, а в городе это тебе не пройдет. Вот, погоди, освобожусь, тогда поговорю с тобой сурьезно...

Третий вол: Подождите, не ссорьтесь! Голос знакомый, совсем, как у братца, что вот уже сколько лет как ушел в город и не подает вести! Дайте пройти, посмотреть поближе! Ей Богу, не ошибаюсь, братец и есть! Неужели довелось встретиться! И голос, и разговор! Братец, братец, помнишь ли меня?

Горожанин: Кто это кличет там? Не могу разобрать в сумерках... Откуда я могу помнить всех!

Третий вол: Да это я, твой старший брат. (Обращаясь и другим волам). Не узнает, а я, ведь, признал сразу, мой меньшой братец. Вернусь домой, маменьке скажу, что довелось в городе братца повидать. Вот старушке то счастье будет! А то она давно крест положила, слез сколько пролила... Братец, братец!

Горожанин: Положительно не представляю, кто кличет! Меня то многие знают, как я в городе, а откуда я могу знать кто, Бог весть, откуда!

Третий вол: Да, это я, твой старший брат! Живя в городе, ты, поди, перезабыл нас всех, а мы о тебе непрестанно думаем! А тут привелось свидеться!

Горожанин: А, это ты, любезный! Как будто припоминаю что то, был, кажется, у меня старший брат, да, признаться, в городе не до того, чтобы деревенскую родню помнить. Город захватывает!

Третий вол: Да, уж, конечно, нечего и говорить, служба, общество, пятое, десятое, не то, что у нас! Нашему брату это трудно понять!

Горожанин (Польщенный): Ну, может быть, и не так трудно, было бы только у вашего брата, деревни, старание! А, пожалуй, и трудно, город — это что то особенное, масштаб, перспектива...

Третий вол: (обращаясь к другим). Слова то какие! Подумать, родной братец, а куда пошел — рукой не достанешь!

Горожанин: Так ты, значит, любезный, приметил меня, а? Хе-хе! А я никак не мог распознать! У вас, деревенских волов, глаза зорьче, чем у нас, вам в темноте видно как нам при свете!

Третий вол: Привелось встретиться все таки! Дома никто не думал, что когда нибудь свидемся! Вот, как, братец, чудесно! Ну, как город? Захлеснул, поди?

Горожанин: Город это что то, как богема, окунешься в жизнь, и того... Как же!

Третий вол: (Со вздохом). Страшно подумать!

Горожанин: Ну, а, скажи, любезный, как у вас там дома. Все так же, как прежде, по брюхо в грязи пашете, не вылезая?

Третий вол: Всяко бывает! То по брюхо, а когда и глубже по загривок. Раз на раз не приходится!

Горожанин: И мошка, поди, в глаза лезет, и клещ впиваются, шмели жгут, а ты качай по брюхо в грязи с плугом! Так ли?

Третий вол: Так, братец, и мошка, и шмели! Все так. А что-ж сделаешь? И батюшка покойный так тянул, да и все другие... Я не ропщу.

Горожанин: (Наставительно). Роптать тебе, конечно, нечего! Кому то надо качать по брюхо в воде и грязи. Кому как!

Третий вол: Все верно, кому как!

Горожанин: Ну, а как мать, жива старуха?

Третий вол: Жива, братец. По тебе все убивается. Причитает, как живет он у меня один в городе, никто не посмотрит, не позаботиться... Убивается ежедневно и ежечасно!

Горожанин: Ну, что-ж, такая ее материнская доля убиваться по сыновьям. Но по мне старухе растраиваться нечего, слава Богу, в городе не последний!

Третий вол: Живешь хорошо, братец?

Горожанин: Как бы выразиться, чтобы не соврать! Конечно, в городе все по иному, об-

хождение и прочее. Тонно все, со вкусом ! Сбрую, к примеру взять ! На лбу медные бляхи, ремни сыромятные, идешь, ставишь копыта словно ты в лаковых полуботинках, носки разворачиваешь... Не так как ваш брат сует куда попало ноги.

Третий вол: Понимаю, братец, понимаю... Слов нет, тонно, с фасоном !

Горожанин: Насчет тона беспокоиться нечего, столько, что от непривычки сначала прямо закачиваешься. Потом, конечно, привыкаешь, так сживаешься, что даже не замечаешь...

Третий вол: Подожди-ка, братец, что то того... Нельзя ли передвинуться в сторону, уж больно откуда то несет, сил нет, не прдохнуть.

Горожанин: (Поведя носом). Чем это, я что то не слышу !

Третий вол: Несет так, что, верно... Я не о себе, у нас, в деревне, тоже, оно, конечно, прет, только как то, как бы сказать, здоровее, я о тебе, так тонно в городе, а здесь...

Другие волы: Не додуматься, откуда и несет ! Что то, действительно, того... Уж больно кисло как то...

Горожанин: (Про себя, все еще с мыслями о своей жизни). Привыкаешь, так сживаешься, потом уж не замечаешь...

Второй вол: (Насмешливо). Это что-же, о тоне, или вот, что смердит ?

Горожанин: А, ты, опять вижу пристаешь ! Экой, брат, прилипчивый ! Нельзя даже о чувствах поговорить, вашему брату только бы зубы скалить...

Третий вол: Не сердись, братец, не обращай внимания, не стоит... Вот, что я хотел спросить тебя, братец, как вернусь домой, будут расспрашивать, так чтобы мог рассказать. Чем ты, братец, занимаешься? Положение, поди, высокое, звание, чины, награды?

Горожанин: (Польщенный). Ну, как тебе, любезный, сказать! Положение не то, чтобы высокое и чины большие, есть кое кто и повыше меня. (Скромно). Я состою при Городской Управе... (С нарастающей гордостью). Числюсь при ассенизационном отделе, в обозе. Есть такая коллегия! Тебе, поди, даже не выговорить такого слова! На отличном счету, замечен, пользуюсь особым доверием, когда присмотреть, когда распорядиться, а когда и самому свезти! Последнее, как я ответственный, бывает чаще!

Второй вол: Так, вот, откуда смердит! От городского...

Третий вол: Подождите, подождите, дайте мне наговориться с братцем! Ну, хорошо, прости, братец, не хотел задевать, и не обращай внимания на других! Прости, что я хочу сказать: чины, положение, все оно хорошо, но, как сказать, бы братец, уж больно дух, того, не продохнуть! Я не хочу сказать, что у нас, по брюхо, нет, не то, братец, но как то, оно все красиво и тонко, а, вот, дух, смердит...

Горожанин: Если и смердит, что из этого! Зато я, любезный, в городе!

Октябрь, 1946
Сеул, Корея

Совсем, как в кинематографе

— Я, знаете ли, пессимист чуть ли не с первого дня рождения. Как раскрыл глаза и глянул мутным еще взором на свет, сразу же отшатнулся, и по сию пору не могу выправиться! Мне пятьдесят, логически рассуждая, не возраст, ни тридцать, ни семьдесят! Взять пессимиста вообще, что у него? Одно страдание и полумрак, в жизни не квартира, а мрачный терем или пещера, весь строй в минорном ключе, и если он не проливает слезы, зато всегда расстроен, а рук на себя не ложит только потому, что хочет посмотреть, что ему еще хуже выйдет завтра... Взять, к примеру, чувства! Позвольте мне спросить вас, верите ли вы в чувства или нет? Скажем, любовь и пессимизм, не склеиваются, а? Я бы тоже так полагал, если сам не поверил бы в чувства, даже в любовь! Вам покажется странным, пессимиста вообще трудно понять. Может, верно, странно, но не для меня... Каким образом? А вот каким: у меня в последнее время жизнь сложилась совсем, как в кинематографе. Попробуетесь узнать каким образом? А все через

то же чувство! Раньше слышал выражения: страдание от любви, муки сердца, и тому подобное. Слышать то слышал, а не понимал, в смысл не вникал, чувство — пустой звук, ну, известно, пессимист! Теперь же полностью разгадал, чем? — А вот чем, страданием своего сердца... Мукой, и тому прочее... Началось совершенно случайно, действительно, как на ленте! Вообще я живу в стороне, не то, что сбоку, совсем оторвавшись, а по заданному ходу; работа, сыгровка, буфет, дом. С утра опять тот же ход. Каждый день, как часы. А тут случись что после сыгровки захожу в зал клуба, не помню, что было, вечер или вечеринка! Знакомый билетер пропускает, прохожу вперед, к передним рядам, не глядя на сцену, нащупываю знакомых, вот, сейчас, думаю, переглянусь глазом, дам знак и не теряя времени подадимся в буфет, к стойке. Прохожу ближе, сажусь, озираюсь назад и по рядам. На сцене скрипачка, ничего для меня особенного, я сам музыкант, играю на нескольких инструментах, меня одной скрипкой не поразишь! Провожу так же рассеянно глазами по рампе, все, что пока еще вижу, золотые туфли, еще про себя подумал, ну, штучка, из модных! Перевел от нечего делать глаза выше, бархат в обтяжку... Лучше мне бы на этом бархате и остановиться, дальше не идти, а перенести место действия в буфет! Право, лучше бы, да видно пессимисту так складывается в жизни! Слушайте дальше. Перегожу глаза выше, и, не поверите, столбенею и сразу же увлекаюсь, Бог мой, думаю, да что же это такое! У ней не две

руки, а, по крайней мере, шесть, и все полные, открытые, белые, и так и ходят, и ныряют, и смычком, и по грифу, бьют по струнам, tremolo дают, а то так заплачут, зальются жалобно по струнам, даже пессимисту невмоготу переживать! Увлекся руками, а глаз еще не перевожу выше, еще не знаю, что ждет меня дальше! А взглянул выше, на лицо и в глаза, совсем затрясся! — вы усомнитесь, пессимист, и так разгрываются чувства! А отчего? — у ней в лице, в улыбке и в глазах эдакое пламя, словно голубой пожар. И смотрит на меня одного, словно клубный зал наполовину полупуст, я один сижу в первых рядах, и ей некого больше с интересом разглядывать! Я даже оглянулся, нет, публика сидит, но не могу понять, переживает она или нет, так занят своими чувствами! А она все смотрит на меня в полуоборот, то сверху руки, то из под нее, и так все это меня волнует, а шесть рук, бархат, золотые туфли, все это в каком то пламени. Конечно, нервное, мираж, обман зрения, галлюцинация трезвого человека — я даже не был выпивши!, но тогда не рассуждал, а как закончила играть, я все еще сижу и кричу бис; огни гасят, а я все еще надрываюсь! Потом уже сорвался и кинулся за кулисы... Опять скажете, что у настоящего пессимиста не может быть таких переживаний, а если он и переживает, то молча, сидя дома с музыкальным инструментом в руках, а то насасываясь втихоря у стойки! Почему я и говорю, что трудно понять... Набрался я смелости и говорю ей — вокруг народ стоит, каждый желает высказаться! — что, мол, тому, кто ежели

сам в минорном ключе, так слушать, ей Богу, говорю, слезу прошибает! А она слушает и смеется: вы, наверное, сами музыкант, если так тонко понимаете! Как, говорю, в музыкальном мире не из последних, на нескольких инструментах играю, в оркестре на домре альте и на пикколо, смотря, как понадобится. А дома себе для слуха на балалайке, а то на мандолине. Однаково свободно по нотам и по цифровой системе. Да, вы, говорит — и еще больше смеется — всесторонне музыкально образованы! Может быть, как нибудь дуэт сыграем, только уж позвольте мне по нотам! И смеется, в лице эдакое неописуемое, а что в глазах и в голосе, только поддается чувствам! Заходите как нибудь, буду, говорит, рада, я одна с папой! И папа будет рад!... Видите, как интересно до сих пор получилось, я и говорю, совсем, как в кинематографе. Вы только скажете, где же действие, пока одно переживание и чувство! Верно, чувство, но подождите момент, действие еще впереди... А сам все повторяю про себя; может быть дуэт сыграем! И про папу думаю, все представляю себе такого сухонького старичка, из военных, отставной с седым ежиком. С папой, думаю, даже очень хорошо, солидно... Собрался, наконец, вы не поверите, еще скажите: пессимист, а такой прыткий! Пръяткий, не прыткий, а дошло до того со второй недели, что не могу себе найти места, несколько дней музыкальный инструмент в руки не брал, так влечет!... Вот сейчас перехожу к описанию действия, слушайте! Еще с вечера достал букет, одеколон для аромата,

тальк для ног и после бритья, на другой день к полдню интересно оделся со вкусом, еще подумал, какой инструмент взять, домру пикколо или мандолину, да на ней и остановился, со скрипкой лучше сыгрывается! Нести, вот только не совсем ладно в открытом виде, к тому же, думаю, принесу незаметно, сюрприз сделаю, лучше заверну в газету, а я об нее еще руки на сухо вытер после того, как на голову вылил жидкий фиксатуар Флер де Амур для расчески и запаху, да другого номера под рукой не оказалось, думаю, ничего, что с пятнами. Букет взял, с вечера я его в воде продержал, чтобы посвежее выглядел, вышел огляделся, кажись, все в порядке! А в последнюю минуту оробел: как встречусь, как разыграется действие, как разговор! А уже иду, топаю, а еще больше расстраиваюсь, ну, известно, пессимист! Вот ты, говорю себе, идешь, а на что, ты знаешь, догадываешься? Может быть, на одно страдание и вернешься разочарованно с разбитым сердцем. Если бы еще так!... Уже приближаюсь к месту драмы: вот так дом, так вход, дверь сбоку, крылечко, сколько ступенек, не помню, до того взмолнован! Открываю. Вхожу. В сердце и жилах биение крови, не пульс, а стокатто! Вхожу в коридор, даже глаза зажурил, нащупываю путь в темноте, совсем, как в кинематографе, действие заснято на ленту через туман, и герой вот-вот начинает что-то проглядывать, а там где-то в глухом коридоре или в темном колодце словно свет или видение, и он на него идет наощупь, не зная, на радость или несчастье, с похолодев-

шим сердцем. Похолодело оно и у меня, хотя спрашивается, почему у пессимиста оно должно пылать! Зажмурившись, делаю несколько шагов по коридору, приоткрываю глаза, ничего не вижу, темный угол, уперся, стою в нем. Только хотел оглядеться и выйти, еще подумал, вот, сейчас повернусь и начну сначала, как в это время кто то, не входя в коридор, возьми, да и откинь дверь так, что она закрыла меня, да к тому же и прищеми ее, чтобы не открылась... Теперь подумайте обо мне маленько, какая сильная драматическая ситуация: стою в углу, прищемившись, с инструментом и букетом, темно, тесно, несет чем то с пола, поднимаюсь на носки для облегчения, задираю голову, сказать положительно ничего не могу, категорически не представляю себе, как даже мог бы вымолвить: извиняюсь, я к вам с визитом, а меня кто то кажется дверью прихлопнул! Логически рассуждая, что можно сделать? Пробую сам освободиться и начать сначала, толкаю дверь рукой, ногой, не поддается, дышать уже трудно, в грудях теснит, пошевельнуться не могу. А тут слышу голоса, один узнаю сразу, прислушиваюсь, смех раздается, сейчас же о руках вспомнил, как тогда увлекся, на свое несчастье! Кровь бросилась в голову, затрясся бы, ежели чуть больше места!... Прислушиваюсь. К ее голосу прибавляется другой. Это, полагаю, голос папы. А голос грубо-ватый, не такой, как у щуплого старичка в отставке, а как, извините за выражение, у бугая. Еще подумал про себя, что у пессимиста все представляется в мрачном осве-

щении... А голос растет, такой что не ест, не пилит, а сказать вернее, зубами рвет, гложет и бросает недоеденное! Почему, орет, приехали сюда, да почему нет ангажемента, до ручки дошли, проелись, скоро с квартиры погонят! "Жрать, жрать", орет, да так противно, слушать неприятно, да еще которому зря, ни по что, ни про что прищемленный в углу, да еще с полу несет, не выйти, не высказаться! А время идет, кому мгновение, а кому... Слышу шаги легкие, быстрые, не шаги, а золотые туфли, совсем близко, и голос ее, а не бугая. "Какую, говорит, только дрянь не найдешь иногда в паршивом углу!", и с этими зловещими словами отверзает дверь и положительно столбенеет. Столбенею, натурально, и я, но уже дышать легче, стеснение в груди прошло, хотя в горле от столбняка стало давить, сказать категорически ничего не могу! А она смотрит на меня, словно я рыжий из цирка, и трясеется от судорожного смеха так, что даже руки зажимает в коленях. Сказать ничего не может, только выражением, смехом, да восклицаниями удивляется, каким, мол, образом, да еще в таком параде! На смех выкатывает папа на круглых ногах, даже не бугай, а здоровеннейший дворовой собака, темный из себя, глаза кровью налиты, видать злой, как леший, босой в шлепанцах, в одной майке, без пинжака. Выкатил и уставился на меня, не может слету схватить драматического момента, даже видно, что не думает, а просто уперся шарами. А я стою себе с инструментом и букетом, не трогаюсь с места, только

прижавши ногой букет к стене, двумя руками как подношение, протягиваю ему музыкальный инструмент. Конечно, зря сделал, жалею теперь, лучше бы что нибудь другое, ну, растерялся, положение требовало действия! А потом, пессимист легко сдается, какая разница, все одно хуже выйдет... Он смотрит удивленно, видит газетная бумага в масле, да и, поди, инструмент по форме показался съестным, с голодных глаз все может показаться, даже клыками лязгнул от радости и слону пустил на майку, в глазах уже не кровь, а смакованье, вот сейчас ветчинкой недурно подзаправиться! С голодных глаз он и протягивает руки жадно, протягиваю и я ему с инструментом, это называется, пришел на дуэт!... Здесь уже действие разыгрывается во всю, к самому горячему акту приближаемся! Перехватывает он инструмент в руки, как берут, скажем, окорок, правой рукой за ножку, а левой ладошкой под мякоток снизу. Перехватывает, и с минуту ничего не может понять, только шары опять стали наливаться кровью, а когда дорубил, что не окорок, сразу же побагровел! То был весь темный в лице, а тут стал, как бурак, словно ему, знает ли, по портрету кто мимоходом кистью с краской прошелся! А я растерявшись, что он так в лице страшно сменился, перехватываю из под ноги букет, да и протягиваю его ему, уж совсем, конечно, зря! Тут он вторично ужасно страшно меняется, стал ли опять темным, или что, не могу ничего сказать, действие слишком быстро разыгралось, повторяю, не могу разобраться ни в его, ни в своих чувствах!

Только догадываюсь, что он собирается смазать меня моим же инструментом, да раздумывает, может сам играет, балуется, а то, поди, показался черезчур легким. А я как раз в этот момент протягиваю ему букет. Он берет его в свои руки и тоже ничего не может понять, полная неувязка в предметах, то было легкое, а тут тяжелый, намокший для свежести. Перенимает он его в свою руку, подкидывает, чтобы ловчее ухватиться за корни, и наотмашь пре-
больно смазывает меня раза два по масалам... Конечно, вы скажете, какая разница пессимисту, сухим или мокрым букетом прошлись ему, мокрым даже лучше, пусть ему, пессимисту, больнее, чем другому, пусть он страдает пуще за свои убеждения, так, мол, ему и надо... Может быть, оно и так, а я то за что? За то, что пришел что называется, на дуэт! Вы еще спросите, а где же развязка, если как в кинематографе? Вот, подождите, соберусь на днях выручать свой музыкальный инструмент. Логически рассуждая, даже не предвижу, во что выльется, знаете, как зритель, досиживает картину и не может догадаться, чем лента кончится!

Декабрь, 1946
Сеул, Корея

Под сенью гения

Их было трое. В школе они были различны во всем, в характерах, способностях, привычках; они были различны домами и окружающей обстановкой, но их одинаково осенил гений Пушкина, правда, осенил не так, как хотели бы добрые родители и их мудрые наставники.

Они познакомились с гением в одно и то же время, но по странной судьбе, связавшей их, они взяли у поэта только то, что казалось им особенно выпуклым, то, что захватило их с первого же момента знакомства. Дальше этого они не пошли, но отнюдь нельзя сказать, что они пренебрегли гениальным поэтом, нет, они жили с Пушкиным всю жизнь, пронеся его с собой через все испытания и тяжести, оставшись верными ему.

В этом можно проследить поразительное проявление гения поэта, с такой неотвратимой магической силой еще являющего себя в иной эпохе и обстановке.

В восприятии Пушкина этим тремя личностями можно проследить глубокий психологический уклон, над которым следовало бы призадуматься,

чтобы разобраться в нем в виде научного исследования. Но цель настоящей попытки не идет так далеко, ограничив себя только знакомством — через творчество гениального поэта — с тремя данными субъектами, не без некоторого, однако, желания приподнять завесу таинственного и пытливо заглянуть в неведомое.

Первый из них познакомился с поэтом не по школьной хрестоматии, а по полному собранию сочинения, тщательно изданного со всеми пометками, поправками, набросками, многоточиями и незаконченными произведениями.

Перелистывая от нечего делать том Пушкина, он наткнулся на стихотворение, сразу захватившее его. Он быстро пробежал его глазами, затем прочел вслух, легко расшифровывая многоточия :

Перешедши мост Кукушкин,
Опершись..... о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С мёсье Онегиным стоит.

Этим стихотворением начался увлекательный порыв самого любовного исследования всех встретившихся многоточий. Гениальный поэт, совершенно, конечно, не предполагая этого, направил любознательный ум пытливого мальчика быстро следовать по облюбованному им пути. И мальчик, действительно, двинулся! Вскорости, в самый малый срок (он тогда еще сстался на второй год, отдав больше времени изучению захватившего его предмета, нежели другой школьной науке) он уже обладал внушительным

запасом таких непревзойденных перлов, как “Серый день мерцает слабо”, “Акулина Поликарповна”, “Садко, богатый гость”, “Прок Фомич” и т. п., а в четвертом классе классической гимназии декламировал, нисколь не уступая материому портупей-юнкеру Чугуевского училища бессмертное произведение о трагической судьбе дворянского сына Луки.

Трудно было бы представить, чтобы исключительное пристрастие к стихам и талант декламации не провели бы одаренного юношу по широкой дороге к самой блестящей карьере на поприще народного образования, особенно воспитания молодежи и их просвещения!

Второй, по происхождению грузин, по меткому выражению преподавателя словесности, “только слегка пробороздил по тучной почве гениального поэта”, не задерживаясь нигде, пока не дошел до поэмы Мазела.

По особым проявлениям тайников души можно иногда наметить дальнейший путь человека. Это можно отнести целиком к судьбе этого мальчика. Но об этом будет сказано ниже.

Характерно, что только одно место во всей поэме захватило его, и не только поразило, но и оставило трагический след на всю жизнь.

Обычно считается совершенно достаточным знать два отрывка из всей поэмы: “Тиха Украинская ночь” и “Богат и славен Кочубей”, но по странности человеческой натуры, как уже было отмечено выше, наш мальчик грузин “про-

бороздил" мимо, чтобы со страстью и пылкостью воображения остановиться на месте допроса Кочубея.

Когда его вызвали в классе прочесть один из двух отрывков, он попросил преподавателя позволить ему продекламировать то, что он мог передать с большим чувством, любовью и пониманием глубокого смысла. Просьба была сказана так, что ей нельзя было отказать. Он вышел перед классом и начал декламировать, загораясь все больше, пока не дошел до места допроса Кочубея, особенно до слов:

Где клад запрятал, отвечай!

Он произнес эти слова, уснащая их сильно выраженным грузинским акцентом, с таким особым жаром, словно сам допрашивал несчастного Кочубея. Затем — надо отметить, что это было сделано с поразительным театральным мастерством — он быстро повернулся в сторону, уже представляя Кочубея, и тут, с невыразимой сладостью в голосе, полный жестоких мук и страданий, но с гордой решимостью, продолжал:

Он отвечал им — "нэ скажу".

Напрасно говорили ему, указывая, что двух последних слов не было в подлиннике, что если он прибавил их, особенно со своим акцентом, то почему бы к "нэ скажу" не придать для пущей яркости "дюша лубэзный". Но он стоял на своем, говоря с неоспоримым убеждением, что если этих слов и не было, то они подразумевались. А раз подразумевались, то их надо произносить.

Судьба его очень интересна, но об этом будет сказано позже, после того, как мы познакомимся с третьим одаренным мальчиком.

Что было сказано о двух других, можно повторить и о нем, что он охватил мощный гений поэта только частью, но как мала она ни была, он сделал из нее себе увлекательный и огромный мир, в своеобразном очаровании которого и прожил всю жизнь.

Поэзии он не любил, поэтому знакомство с Пушкиным началось у него с прозы, и уже потом перешло на поэзию, и так перешло, что он совершенно воплотился в ней, сжившись с каждым словом облюбованного им стихотворения.

Перелистывая томик Пушкина, тоже от нечего делать, он пробежал глазами по страницам "Повестей Белкина", остановившись на строках дневника помещика: "такого то числа Тришка бит", ниже, "Тришка опять бит," затем уже совершенно интригующая запись: "Тришка бит по погоде".

Трудно сказать, что именно случилось, какие, выражаясь красочно, звучные струны задели эти слова в его богатой и впечатлительной душе! Но нет сомнения, что они навели мальчика на его собственный путь, с которого он уже больше никогда не сходил.

Беглая запись аккуратного помещика открыла в нем любознательность и натолкнула на более тщательное изучение творчества гениального поэта. Верно говориться, что на ловца и зверь

бежит. Не успел он перелистать и несколько страниц, как глаза его попали на строки из “Евгения Онегина”:

Когда же вольности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Москве погнали со двора.

Дальше он уже не читал. Пушкин дал ему все, что тот искал в поэте. Захватила его, конечно, только последняя строка, но захватила, как большого художника с невероятно пылким и плодовитым воображением. Уже через мгновение он видел темное, нависшее небо, мокрые стволы голых деревьев, серую и сморщивающуюся от дождя поместью усадьбу, крыльцо, на котором стоял помещик, держа за чубук трубку, а, особенно, длинный двор с глубокими изрезанными рыхтинами, через который, во всю его длину, то с одного конца, то с другого, дворня в невероятном азарте увлечения, гнала несчастного француза.

В его пылком воображении картина неизменно росла и менялась; его передача, сочная, как широкие маски кисти, изображала то весеннюю картину, то осеннюю, но неизбежно представляла темное, свинцовое небо, мокре и нависшее низко над землей, словно он хотел еще больше прижать к земле бегущего старика учителя.

С любовью, отмечавшей только подлинного художника, он останавливался на таких деталях, как фигура помещика на крыльце: взлохмаченная спросонья или похмелья голова, растегнутый шлафрок, к засаленным бокам которого он судо-

рожно прижимал руки в неудержимом порыве сумасшедшего смеха. Он легко набрасывал фигуру приказчика, стоявшего с картузом в руке, скребущего пятерней ниже поясницы и озабоченно спрашивающего: “мол, не спустить ли таперича псарню”, на что помещик, откидываясь корпусом еще больше назад в новом порыве неукротимого смеха, только отмахивался чубуком, с трудом выговаривая: “подожди... пусть... еще... с того... конца... погонят”.

Он вырисовывал группу старух богомолок с холщевыми сумами за спинами, которые стояли у крыльца, подперев щеки ладонями, склонив головы, и их скорбные, замоленные лица озарялись ни то ехидной, ни то умильной улыбкой.

Мастерски изображал он крики, улюлюканье и вой вошедшей в азарт дворни; почтенных старииков крестьян, с бородами развевавшимися по ветру, которые, как и барин, откидывались назад корпусами, судорожно хватаясь за бока. Иные из них торопили бежавших мальчишек с палками от городков, чтобы они успели перехватить бежавшего мосье.

Он изображал, как два конюха, висевшие в воздухе на поводу вздыбленного жеребца, которых они вели на случку, бросали повод и присоединялись к живой забаве дворни. Он быстро набрасывал помещичий дом, окно на втором этаже, в котором торчала, трясущаяся от старости и смеха, беззубая голова няньки. Он прибавлял такую тонкую деталь, как появление Тришки, только что битого “по погоде”, который выбегал из конюшни наперевес, придерживая порт-

ки, чтобы со всего размаха броситься под ноги уже невероятно запыхавшегося и отчаянно свистевшего астмическими бронхами бедняка француза.

Слушавшие его только диву давались, откуда у мальчика такой неудержимый размах фантазии и воображения! Многие, прослушавши его только раз, сулили ему карьеру художника баталиста, так легко на огромном полотне справлявшегося с живым людским материалом.

Баталистом художником он не стал, но человеку с таким пылким воображением и опытом открывалась широкое поле деятельности в исторические дни, когда через длинное поле страны, под низко нависшим небом, кого только не погнали под вой, свист и улюлюканье дворни.

Интересно вернуться к судьбе мальчика, которому не удалось пройти так успешно по жизненной дороге, как двум другим.

Как то в том городе случилась крупная экспроприация. Был ограблен Государственный банк. В числе арестованных по подозрению в грабеже оказался этот грузин. Темное и запутанное дело тянулось долгое время.

Неизвестно в точности, как это произошло. Вполне вероятно, что совсем не так, как рассказывали позже. Некоторые, хорошо знавшие грузина, считали, что только до некоторой степени виной был Пушкин. Другие шли дальше, и положительно утверждали, что сгубил его великий поэт, выдав с головой.

Вероятно прокурор, как и ожидалось от него без всяких со стороны прикрас, говорил подсудимому: “вы обвиняетесь по такой то статье Уголовного Закона, по которой грозит такое то наказание, и только чистосердечное признание облегчит вашу участь. Покажите, где вы спрятали экспроприированные деньги”.

Но, может быть, действительно, все было иначе, и прокурор, в стремлении распутать темное дело, прибегнул к приему психологического допроса. Известно, что адвокатское сословие в России не чуждо было поэтического дарования, что так красноречиво подтверждалось (выражаясь их же языком) обильной жатвой, которую они снимали на ниве поэзии.

Мнения здесь обычно расходятся: многие склонны утверждать, что если адвокатское сословие и практиковало больше в искусстве стихосложения, зачастую даже в ущерб своей практики, проигрывая дела клиентов, то делали это присяжные, преимущественно по эту сторону 30 лет, даже не старше 27 лет, из тех, кого называли “дамскими идолопоклонниками”, и кто втайне считали себя декадентами и даже любили поговорить об этом не без чувства роковой обреченности.

Сторонники другого мнения шли дальше и положительно утверждали, что когда те становились прокурорами, то совершенно, раз и на всегда, освобождались от юношеской слабости, и только иногда, за зеленым столом, загибая угол карты, приговаривали “что жизнь — игра”; или подкатывая на извозчике к загородному

учреждению, издавно известному под названием института древних языков, декламировали :

Невольно к этим берегам
Влечет меня неведомая сила...

Но сами к стихосложению рук своих отнюдь не прикладывали.

Как бы то ни было, по второй версии вышло так: прокурор, решивший прибегнуть к психологоческим приемам допроса, случайно или знаяший о пристрастии грузина к драматическим стихам, прицелился в него указательным пальцем и внезапно выпалил :

Где клад запрятал, отвечай !

Рассказывают, что с грузином в тот момент произошло что то необыкновенное! Вспомнилось ли ему золотое детство, или с неудержимой силой рванулся в нем гений Пушкина, но только подсудимый встал, почти шатаясь от волнения, сделал шаг вперед и со всей страстью и пылкостью, с какой его знали в школе, с замирающей сладкой мукой в голосе ответил :

Гдэ клад запрятал — нэ скажу !

Само собой разумеется, что суд принял эти слова, как признание вины, усугубленное тем, что он не хотел сделать полного и чистосердечного признания. Ему вынесли приговор, пожизненное на каторжных работах, срок, в котором незадачливый грузин мог вполне основательно пораздумать о многом, а особенно о влиянии — даже трагическом — гения на человеческую жизнь.

Апрель, 1947
Сеул, Корея

III

Золотое руно

Это сказание о подвигах, которые захватывали нас еще в раннем детстве, сказание о легендарном путешествии древних греков к далеким берегам Колхиды в поисках золотого руна. Множество препятствий нужно было преодолеть на пути отважным путешественникам в чужих вражеских землях, где смерть скрывалась за каждым поворотом. Но золотое руно влекло их, поиски его воодушевляли путешественников, руно было дороже золота, дороже самых драгоценных камней, великое множество чудесных вещей можно было сдѣлать при посредстве его, их пальцы, казалось, уже чувствовали шелковистую теплоту руна... И так они двигались вперед...

Об этом думается в просторной палате, разделенной на кабинки, в которых мужчины и женщины, молодые и пожилые лежат с закрученными рукавами рубах или блуз.

Из кабинки напротив, через проход, улы-

баются две женщины, одна пожилая, другая совсем девочка, вероятно ее внучка.

Проворные пальцы сестры милосердия пронизывают кожу в лунке сведенного локтя, где голубые жилки надуваются под давлением тугого закрученного резинового жгута. Острый конец тонкой трубки вводится в вену, пальцы руки начинают медленно сжиматься в кулак и разжиматься вновь, гоня кровь через трубку в подвешенную склянку.

Пока кровь заполняет склянку, все еще думается о золотом руне, но в другой форме, верней о процессе, через который пройдет выкаченная кровь.

После того, как она будет отмечана по типу, кровь будет помещена в той же склянке в быстро вращающуюся машину, где в центробежном движении пройдет поразительное чудо: жидкая часть, сукровица, отделится, и то, что останется от крови, будет походить на то сказочное золотое руно, о котором все еще думается. Оно будет таким же мягким и пушистым, такого же золотистого цвета...

Затем это золотое руно будет насыпано в другую склянку, крепко закрыто, и вместе со склянкой дистиллированной воды будет завернуто в индивидуальный пакетик, и с тысячами подобных ему будет отправлено далеко за моря, в далекие страны.

Много странствований сделает этот пакетик по суше, по морю, по воздуху, пока, наконец, не дойдет его очередь. И там, где это случится, произойдет другое изумительное чудо при самых

драматических обстоятельствах! В полевом госпитале, на перевязочном пункте, в воронке от артиллерийского снаряда, забрызганной кровью, врач или фельдшер откроет две склянки и в ту, в которой золотится шелковистое руно, вольет дистиллированную воду, и то, что до того было сухим пухом, превратиться снова в красную кровь, готовую влиться в вены раненого и дать вновь ему жизнь.

Нить нигде не порвалась, это продолжение того же вдохновляющего сказания, которое захватывало наше воображение еще в детстве! Но наше, сегодняшнее, нам самим кажется обыденным, и нужно особое биение сердца, чтобы уловить его в другом сказочном аспекте, даже не думая о том, что через тысячи лет о нем так же воспοют в вдохновляющих легендах.

Март, 1943
Сан Франциско

Родина

Родина наплыла вдруг, нежданно и негаданно. Не громадой надвигающегося материка, не цепью гор, не лесистым островом, закрывающим форватор; не маяком, сверкающим ночью белым глазом; не звоном буев и раскатами ревунов сквозь водяную пыль прибоя; не снежными просторами, не вспаханными пашнями, не весенним запахом лугов; не видом сел, не городом, сбегающим вниз к бухте...

Родина наплыла вдруг из заувешенного галстуками прилавка, топчась нерешительно в благоухающем воздухе парфюмерного отдела магазина Пенни.

Их было троё в форме советских моряков — в черных штанах, синих куртках с погонами, в приплюснутых фуражках с надписью “Красноармейский Флот”.

— Помочь вам чемнибудь? Наверно, трудно без языка?

Родина опешила, но широко улыбнулась и подвинулась ближе, выжидательно заглядывая в глаза.

— Точно, — ответили они в один голос.

— Если глазами найдешь, что нужно, то тогда еще как то можно разговориться, а пока идешь, да спросить не можешь, так вот тут, знаете, засечка, — пояснил для точности один, покрутив при этом с сожалением головой.

— Точно, — ответили другие, тоже покрутив головами.

— А что вы ищете?

Родина переступила с ноги на ногу, широко заулыбалась, заглядывая в глаза.

— А, вот, господин, чулки ищем. Женские, для дома. Да и ниток. Материи то купили, а шить нечем, и найти не можем... А без ниток того, засечка...

— Точно...

Пока родина говорила о нитках, сзади, как на старом мелькавшем экране, пронеслись матросы Железняка и Дыбенко, “грудая” матросня Кронштадта в пулеметных лентах, с винтовками, припавшая черными клешами к крыльям автомобилей на улицах Петрограда в семнадцатом году. Экран мелькал порченной лентой, и образы на нем застилались теми, кто стоял все еще около парфюмерного прилавка.

Это молодые, на них нет вины, нет крови. Вина на отцах, одинаково их и наших. Этим по двадцать, двадцать пять лет, они выросли, хотя и в страшные годы, но крови братоубийственной они миновали.

Нужно было, чтобы ценой своей крови они заплатили за тяжкую вину и грех отцов. Прихоти судьбы нужно было, чтобы сомкнулся злой ненужный круг, начатый, когда их отцы, в угоду

братоубийственной войне, растянули перед немцами в Брест-Литовске тысячелетнюю Российскую Государственность.

Отцы начали, но страшную расплату за тяжкий грех предательства и измену пришлось взять детям отцов семнадцатого года под Киевом, Харьковым, Тверью, Царицыным...

Все это пронеслось быстро в голове, как звуки аккомпанемента под мелькавшую порченой сеткой ленту. Взгляд перешел на этих трех, на их лица, глаза, улыбки. Поэтому они и показались доверчивыми, приветливыми, даже дружелюбными.

У одного, постарше, было простое крестьянское лицо, серое, чуть рябоватое. Думалось, что такой к старости обязательно станет дедом Пахомом, пасечником, сторожем на бахче.

Второй, смуглый, красивый, сдержанный, с хорошо поставленной головой, с мужественным лицом, узким горбатым носом, ясным блеском насмешливых глаз. Такими, как он, жили пахнувшие морской солью страницы Куприна в "Лестригонах"; потомки отважных эллинов, в поисках за золотым руном приставших к скифскому побережью Черного моря. Такими и теперь вероятно полны улицы Ростова, Николаева, Херсона, Севастополя, Одессы...

Третьего, высокого, светловолосого, несколько раз сказавшего "господин", можно было принять за того русского, который накануне пришел в контору газеты, крепко поздоровался за руку даже с теми, кого не знал, чуть-чуть медвежий с широким открытым лицом, с такой же широ-

кой улыбкой.

Сходство, поистине, было поразительно. Но этот, в магазине, был в форме советского моряка ; тот же, в газете, был "белобандит", "враг русского народа". Но так же, как и внешне, не было разницы и внутренней: все те же свойства русского открытого характера, — простота, добродушие, ясность глаз, насмешливость, даже эта медвежатливость.

Они покупали чулки с заботливостью, с увлечением, что как то невольно проплывали перед глазами их Марыи, Дарыи да Пелагеи. Высокий, светловолосый прикидывал на огромную ладонь детские чулочки, как бы в оправдание пред другими, приговаривая нарочито небрежно, но ласково, это, вот, для Аксюшки, да Ванюшки ! Даже "дед Пахом" расшевелился, набрал воздуха, вздохнул и попросил чтобы и ему завернули две пары жутких черных чулок.

Глядя на этот простой, вне-классовый, человеческий быт, невольно пробегали другие мысли. Вот эти чулки по восемьдесят центов пара, которые здесь человек со среднем заработком может на свою дневную плату купить пар пятнадцать. Милая американская продавщица, приятно улыбаясь и желая услужить этим взволнованным людям, проверяет на красивой руке чулок. Хорошо одетая, пожалуй даже слишком цветно, толпа радует глаз ; она приветлива и сдержанна ; задержавшись на секунду около людей в незнакомой форме, она не пристает, не проявляет

любопытства: она понимает, что здесь делается важное дело. Чужая речь не режет ей ухо, она не прислушивается к ней подозрительно.

Это тоже великодержавный путь — даже если это путь от черных вдовьих чулок к попугаевым цветам костюмов. Может быть эти два великодержавных пути и сольются в родине!

Их руки уже были заполнены до отказу покупками.

— Вот, господин, как все хорошо образовалось! А мы то вот все глазами искали!...

Расставание было такое же неожиданное, как и встреча.

— Привет родине!

И они поспешили ответили в один голос:

— Точно!

Июль, 1945
Сан Франциско

Сорок часов

о которых еще не знает мир

На подносе стояла чаша с кусками льда, притиснутая бутылкой виски и содовой водой; в стакане уже дымился кусок льда и листик мяты источал тонкий аромат. Оставалось только долить содовой воды и неторопливо взяться за холодное стекло стакана; через несколько минут должна была начаться концертная программа по радио, затем открыть заложенную страницу автобиографии Бенвенуто Челини, чтобы подготовить себя к длинному воскресному вечеру.

Все, что осталось сделать... Рука протянулась, но в этот момент раздался телефонный звонок.

— Это Русский отдел Конференции. Нам нужно закончить Устав Объединенных Наций в срок. Не могли бы мы заручиться сейчас вашей помощью?

— Сейчас, вечером?

— Не только вечером, но и на всю ночь. Нам нужно во что бы то ни было отпечатать Устав к моменту подписания его делегатами Конференции.

— Да, но это так неожиданно. Если бы дали знать заранее...

Через полчаса телефон зазвонил опять. Голос заговорил по английски.

— Я звоню из Правительственной типографии. Управляющий. Мне передали из Русского отдела, что вы могли бы взять на себя выпуск русского издания Устава Конференции. У нас происходят большие задержки и мы боимся, что застрянем с русским изданием. Мы пришлем за вами автомобиль в 11 часов ночи.

В назначенный час военный автомобиль с двумя матросами остановился у двери. Улицы Сан Франциско уже готовились ко сну. Только на углу Маркет и Десятой шумным потоком сходила толпа по ступеням дансхолла.

Через десять минут мы остановились у типографии Монитор, в которой набирались правительственные работы, связанные с Конференцией. В одной из комнат, за стеклянными дверями, работала группа русских переводчиков, сверяя гранки набора. В типографии за одним из линотипов работала русская наборщица. Старый наборщик, еще не забывший русский язык, шатаясь от усталости и едва стоя на ногах, правил гранки.

Свежему человеку сразу же бросилось в глаза, что шла какая то невероятно сложная работа, от которой многие вымотались не меньше, чем старый наборщик. Переводчики и корректоры возвращали гранку за гранкой, испещренные поправками. Кроме обычных ошибок, сделанных линотипистом, были многие изменения в тексте,

вызванные тем, что в одном из других текстов (Устав готовился к печати на пяти языках: английском, русском, французском, испанском и китайском) возникла поправка, или что либо не было трактовано ясно. Такие места тотчас же должны были быть сверены с другими текстами, ни один из которых не был переводом, а являлся подлинником, только написанным на своем языке.

С русским текстом шла двойная поправка. Текст был выработан Русским Отделом Конференции, который возглавляли два чиновника из Вашингтона, американцы русского происхождения, Григорович-Барский и Гзовский.

Затем, значительные поправки в тексте вносились советской делегацией, возглавляемой послом Громыко, трактовавшей Устав в очень точном духе текста соглашения, достигнутого на подготовительной работе в Домбартон Оакс. Это становилось понятным, когда вставала вся важность роли Устава, на фундаменте которого должна была строиться международная организация мира, Объединение Наций.

После полуночи увезли домой русскую линотипистку и старого наборщика. Изменения в тексте шли непрерывающимся ходом. Американец печатник Кенни, работавший от печатного отдела Конференции, делал по несколько оттисков каждой гранки. За ним уже было двадцать с лишним часов непрерывной работы.

В два часа утра в типографию приехал Гзовский с новой группой переводчиков. Его лицо

было воспалено, глаза горели лихорадочным блеском. За ним было тридцать часов без сна.

В четыре утра приехал Григорович, привезя еще кого то в помощь переводчикам и корректорам. Кто то сказал, что из шестидесяти часов он спал только шесть.

В пять часов утра пришел американец типографщик для верстки набора. Кенни, который приближался к тридцати часам без сна, испустил вздох облегчения, предвидя, хотя и отдаленно, конец.

К десяти утра в понедельник 25 июня русский текст Устава уже лежал набранными формами страниц.

В двенадцать часов дня Советская делегация внесла добавочные поправки в текст. В два часа дня набор русского текста был отвезен в типографию Голан, где он должен был быть заверстан в рамы.

У Голана дым стоял коромыслом. То, что казалось некоторой трудностью с русским текстом, представилось здесь легкой детской игрой по сравнению с тем, как делался китайский текст. Набранный вручную в одной из китайских газет Сан Франциско, набор был перевезен сюда, и здесь, в лихорадочном возбуждения и осатанении, столь свойственными китайцам, но еще увеличенными во сто крат, пол китайского города — наборщики, подмастерья, корректоры, редакторы, их жены и родственники и просто возбужденные зрители — носились, невероятно жестикулируя, крича, махая руками, споря и еще более сатанея.

В этой невероятной толчее молодой женоподобный человек с узкой челюстью и в узких ботинках, присланный Типографским Отделом Конференции, висел сразу на двух телефонах, прикрывая страдающее ухо — тоже узкой — кистью руки.

В четыре часа дня Советская делегация вносит новые поправки,

Они передаются в типографию Монитор, которая, сказать к слову, по сравнению с этой типографией кажется тихой обителью. Поправки передаются для сверки с текстами других языков.

На подмогу молодому человеку у телефонов прибывает другой. Он южно-американского типа, с большим подбородком и маклаками скул, с густо заросшей черными волосами шеей, и не только обликом, но и клетчатым костюмом, сиренево-голубой шляпой и крикливыми галстуком напоминает больше актера, играющего роль чикагского гангстера, нежели правительенного эксперта по языкам.

Лицо Кенни к этому времени принимает вид и цвет рубленого мяса. Его патрон, которого еще не так давно звали Мистер Рубенс, а теперь все зовут Чарли, молит его задержаться еще хотя бы на двадцать часов. Один из старых наборщиков Голана, высокий человек с темным лицом, напоминающим индейца, с красным вывернутым веком и слезоточащим глазом, умудряется сквозь невероятно плотный заслон китайского словоизвержения крикнуть кому то с густым смехом, что они там никогда не квитуют.

— Это для нас положительная тюрьма, — и он еще больше закидывает голову для смеха.

С этим нельзя не согласиться: мрачное темное здание, словно предназначено для самоубийства, позади, в какой то черной норе, две, три железные кровати, на которых вымотавшиеся наборщики могли вздремнуть часок, другой. Только теперь, благодаря живому участию китайцев, число которых все время менялось, (можно было думать, что их, по военному учету, то корпус, то небольшая армия), это место расцвело такой фантастической жизнью.

В это время измененный русский текст рикошетировался на китайский. Китайцы, чутко при слушивающиеся к безпрерывным телефонным звонкам, учуяли, что готовятся новые перемены — и их осатанение достигло наивысшего апогея...

Вечер — равнодушный, туманный — опустился над Сан Франциско. Опустела улица, но на ней зеленым островом вырос десяток казенных автомобилей. Оказалось, что почти у каждого, мало мальски важного лица, был казенный автомобиль, управляемый женщинами. Был автомобиль у Чарли, был и у чикагского гангстера ; несколько машин было предназначено для Русского отдела и ряда лиц, связанных с работой по печатанию уставов.

Вечер загнал в типографию и эту армию женщин-шоферов. К этому времени прибыли матросы и солдаты на грузовиках, чтобы перевезти сверстанные рамы английского, русского и китай-

ского текста в другую типографию для печатания.

Воздух еще больше уплотнился. Страдающий женоподобный человек сводил узкие челюсти в судорожную зевоту. На двух телефонах висел уже каждый, кто хотел, и кто случайно мог оказаться в той толчее около них: звонили китайцы, мешая китайские слова с английскими; звонил наборщики; звонили женщины-шоферы; звонили матросы; звонил Чарли; звонил Кенни; и даже наборщик с оттекшим глазом позвонил кому то, чтобы через полминуты с облегчением сказать, что "нет ответа".

В девять часов вечера принесли огромный ящик с сандвичами, молоком и несколько бидонов кофе. За этот день это уже было второй или третий раз.

За сандвичами ввалился в типографию Ральф, сын хозяина, едва держась на ногах. Он был в живом настроении духа и ему, как никогда в другое время, особенно нравился живой дух типографии.

Видя столько людей в отцовской типографии, он не знал, двоилось у него в глазах или нет, но это сразу расположило его ко всем. Он делал широкие движения руками, приглашая всех перейти улицу и спуститься чуть вниз, до углового кабака, где он хотел от наплыва чувств и полноты сердца угостить всех.

Ральф все подвигался к Кенни, которого Чарли Рубенс оберегал так тщательно все эти тридцать-сорок часов. Но уже было поздно: Ральф дыхнул на него всей сложной смесью пристан-

ского бара, и Кенни упал, как скошенный.

В десять часов вечера нужно было ехать в типографию Монитор за последними строками измененного текста. Там уже были Григорович, Гзовский и штат заполошенных переводчиков. Еще несколько строк набора, несколько последних корректур, и Устав должен был принять законченную форму.

После полуночи мы снова выехали к Голану, везя последнюю гранку поправок и вставок.

— Если бы мы не успели с русским набором, то мне было бы ужасно неприятно, — заметил один из вашингтонских чиновников. — Но теперь, слава Богу, кажется все сделано.

Началось выправление форм набора. Некоторые уже были отвезены в другую типографию для печати и последние поправки надо было сделать там.

Часы уже потеряли всякий счет. На вопрос, сколько времени? из глубины голос ответил:— Вы мне скажите, какой сейчас день, а не час.

Для многих типографщиков рабочий день вытянулся в двадцать и в тридцать часов подряд. Сперва плата шла ординарная, затем полуторная; когда плата пошла двойная, некоторые уже стали проявлять признаки беспокойства. Когда же плата перевалила в тройную, некоторые из особо нервных типографщиков прикрыли уши, как бы боясь, что с невероятных грохотом лопнет в Вашингтоне казна Соединенных Штатов.

К этому времени по самому грубому подсчету издание русского Устава обходилось долларов в двести пятьдесят за экземпляр. Китайское же,

по меньшей мере, тысячи четыре за книжку в 38 страниц!

Выправленные окончательно формы русского набора были отвезены в громадную типографию Индепендент Пресс. Был уже третий час ночи. В одно и то же время на пресс шли русские и китайские формы.

Несколько переводчиков сверяли оттиски с прессов с предварительными оттисками. В окончательной сверке принимали участие два молодых человека, один из Советского Посольства в Вашингтоне, другой — командированный на Конференцию из Москвы.

В большой kontоре типографии, где обычно царил образцовый порядок большого предприятия, набралось человек тридцать, сорок. Шли последние конвульсии. На тот случай, что какое нибудь непредвиденное обстоятельство в последний момент повредит, уже за поздавшему, выпускну или даже сорвет его, в Здании Ветеранов машинистки на особых голубых лентах печатали тексты Уставов на пишущих машинках. Через четыре-пять часов должна была состояться торжественная церемония подписания Уставов делегатами Конференции, и если бы хоть одно издание не вышло, были бы подписаны Уставы, отпечатанные на пишущих машинках. Понятна поэтому лихорадочная озабоченность всех, принимавших участие в этой работе.

Громадные прессы уже приводились в движение. Коренастый плотный человек с рукой на привязе, залитой гипсом, управляющий типографией, гнал своих прессманов. Когда привезли

еще один громадный ящик с едой и поставили его в конторе, он завопил, что его прессманы уже потеряли два часа, бегая сюда за сандвичами. Через секунду ящик был перенесен в типографию.

Шел шестой час утра вторника 26 июня.

На проверке последней формы, уже на прессе, русские корректоры нашли ошибку. “Задержка!” — показалось с тревогой у всех на лицах. Нужно останавливать прессы и ждать, пока будет исправлена ошибка, — и от этой мысли заведующий типографией стал корчиться как от невероятных страданий.

Исправить строку можно было только, поехав в типографию Монитор через весь город; она еще не была открыта. Задержка грозила вылиться в час, два потерянного времени. Тут уже никак не успеть ни с печатанием, ни с переплением Уставов.

— Я это сейчас выправлю!

Человек с гипсовой рукой, как по волшебству, ожил. Мы с ним побежали наверх, в пустые еще типографии, ища подходящую английскую букву “е”. Коварная строка была вынута из набора. Прищуриваясь в плохом свете, чтобы не промахнуться, на типографском рубаке, я разрубил строчку, выточил другой конец и вставил букву. Через минуту строка была заделана в набор; прессман, затянув форму, пустил пресс. Вылетевший с пресса оттиск показал, что строчка выправлена. Заведующий типографией вырвал ожившей гипсовой рукой оттиск и побежал вниз.

Через полминуты в двух этажах типографии загрохотали прессы, выкидывая отпечатанные листы Устава.

Оттиск, на котором была найдена и поправлена ошибка, В. В. Гзовский дал подписать выправившему ее и главному заведующему печатанием Устава.

— Этот оттиск пойдет в Библиотеку Конгресса, — сказал он, пожимая руки.

Часы в этот момент показали 7 часов утра — для меня 32 часа работы без перерыва.

В десять часов утра разбудил настойчивый звонок. Почти сквозь сон, я открыл дверь. Матрос протянул письмо с надписью “в собственные руки”. Управляющий Печатным Отделом в признательность прислал билет на последнюю сессию Конференции.

В три часа дня толпа делегатов, их многочисленных штатов и тех, кому посчастливилось достать билеты, медленно пробирались через фойе Опера Хауз.

Полевой цейсовский бинокль приблизил почти на разстояние руки сцену театра, на которой появился, сопровождаемый двумя адъютантами генералом и адмиралом, президент Труман.

Государственный Секретарь Э. Стеттиниус, как чеховский прокурор, ослепительно сверкал зубами и так их скалил, словно хотел показать, что их у него не тридцать два, а раза в два больше.

На вытянутом скучном лице Советского посла

не было никакого выражения. На его голове черные, приглаженные волосы, казались париком.

Торжественный, печальный, кажущийся таким отдаленным, поднялся на кафедру лорд Халифакс. После своей речи каждый делегат, поворачиваясь, отвешивал поклон президенту Труману, и кланялся Стеттиниусу, который наклонялся вниз и протягивал руку. Лорд Халифакс задержался на несколько секунд, пока просовывал под пустой левый рукав оторванной руки листы своей речи.

Голова делегата Франции Поль Бонкура напоминала белое руно барабанщика. Он говорил, не читая, по французски, с изящными, выразительными движениями рук.

Делегат Бразилии, министр Иностранных Дел Леан Велоссо говорил по португальски свистящей и шипящей речью. Его череп был начисто выбрит, и тысячи огней Опера Хауз нашли на нем чрезвычайно интересное поле для невероятно сложных световых отражений.

Ян Масарик, большой, покойный, единственный иностранный делегат, который читал по английски, вызвал бурю апплодисментов, когда сказал со страстью, неожиданной для его, несколько тяжелого, вида, что “давайте перестанем говорить о будущей войне !”

Амир Файзал ибн Абдул Азиз, министр Иностранных Дел Сауди-Аравия, говорил довольно однообразно, да и английский текст в программе, по которому публика могла следить за речами делегатов, вряд ли мог воодушевить оратора.

Превалирующая масса женщин при его появлении

лении вытянула, как по команде, шеи, но скоро втянула их обратно. Гораздо внушительнее было зрелище, когда члены его делегации, гуськом, в белых бурнусах, как белые лебеди Парсифала, катались по эскалаторам Эмпориума.

Сухой, поджарый, даже изящный фельдмаршал Ян Кристиан Смутс, делегат Союза Южной Африки, невольно явился красноречивым противоречием мирной работы Конференции, когда сказал: “как старый ветеран войны и мирных конференций за последние пятьдесят лет...”

Перед концом речи фельдмаршала, президент Труман вынул черную папку своей речи и быстро провел по ней рукой, отогнув страницы. Перед тем, как встать после представления его Секретарем Стетиниусом, он нервно провел языком по губам. Фотографы появились всюду, даже у тех священных мест, где стояли, заложив руки за борты пиджаков, агенты Секретной Службы, охраняющие Президента.

Засверкали фотографические лампы и заверещали кино-аппараты. Фотографы стали принимать такия сложныя позы, даже не без большого риска, что им могли позавидовать мастера партерной гимнастики и короли воздуха.

Отвечая на шумные овации, Президент развел руками и сказал с сильной выразительностью:

— О, какой это замечательный день будет в истории!

Затем он открыл черную папку и стал читать свою речь.

Июль, 1945
Сан Франциско

Рождество в Сеуле

В первый день Рождества выпал снег. Со-чельник был холодный, но к вечеру потеплело и можно было ждать снега. Выпал он ночью, большой, мягкий, и город стал неузнаваем.

До этого снег в Сеуле выпадал раза три, держался по несколько суток, и таял в дни, которые напоминали раннюю весну. Погода в Сеуле: три дня холодно, морозно, щиплет щеки и уши. Затем наступают теплые дни — три, четыре дня, и улицы расползаются в весенней от-тепели.

К такому произвольному порядку погоды никак не может привыкнуть американское население Сеула, которое кутается во все теплое, что только можно достать. В интенданстве им всем выдали по парке — одеяние эскимосов: защитный халат, который можно вывернуть на другую сторону — белую; под ним теплая меховая щуба. Над воротником меховой капор.

Они не могут приспособиться к прихоти сеульского климата, и не знают в какие дни надо откидывать теплые капоры или поглубже прятать руки в карманы. Вид их на теплых улицах

Сеула — вид слабых, избалованных людей, не могущих выдержать легкого, бодрящего морозца. Русские американцы, избалованные калифорнийским климатом, и в противоречие теории своей закаленности, являются вид таких же слабых существ.

В первый день Рождества все лежало под толстым слоем чудесного искристого снега, и город нельзя было узнать. Мальчишки катались на санках и досках с гор, но каток вокруг дворцового павильона (летом там был нарядный пруд лотосов) был настолько занесен снегом, что конькобежцы только могли смотреть на него.

Сеул стал неузнаваемо чистым и нарядным. Шестисотлетние дворцы казались еще более впечатльными под белыми шапками на своих изящно выгнутых крышах.

За городом с непревзойденной яркостью встала вся красота сеульских окрестностей: крутые гранитные горы с еще хорошо сохранившейся каменной стеной; Северные Ворота, как бы осевшие под снегом: за ними, внизу, соломенные крыши корейских фанз, видимые сквозь густое пересечение оголенных сучьев персиков и грушевых деревьев; желтые дубы; сосны, казавшиеся еще более сочными своей зеленью от снега на ветвях.

За поворотом, сразу за Северными Воротами, где дорога раздваивается: одна идет в сторону Белого Будды, другая вверх, в обход горы Сан-как, во всем величие и красочности поднялись дальние противоположные горы, которые под огромными полосами снега казались еще более

величественными, словно это были Альпы или Гималаи. В воздухе было тихо, только стрекотали азартно галки и голубые сороки, время от времени садившиеся на снег и бравшие в клюв большие куски снега, словно они хотели промочить горло, пересохшее от возбужденного говора.

Снег держался все время до русского сочельника и Рождества. Часть русских, служащих Военного Правительства Армии Соединенных Штатов в Корее, была на вечерне и обедне.

Церковь маленькая, нарядная, алтарь без возвышения. У стены группа молящихся, почти вся старая русская колония Сеула, человек тридцать, половина из которых принадлежит одной семье. Десятка два корейцев, верней корейских женщин и детей.

Православная Миссия в Корее за пятьдесят лет не пустила глубоких корней в корейскую толщу, ссылаясь на то, что народ не податливый, язык трудный, а, главное, Миссия бедна!

Священник, архимандрит Поликарп, служит ровно, неторопливо. У него красивое лицо, высокий белый лоб, хороший голос, располагающий вид. На клиросе хор их русских и корейцев. Высокое сопрано жены одного из купцов с Бон Чана бьется, как белый голубь под куполом. Хор поет просто и хорошо, но поет почти все дважды — по русски и корейски. Это достопримечательная особенность русской церкви Сеула и ее двух составных частей. Отец Поликарп идет еще дальше: он делит службу на три части и служит по русски, английски

и корейски, словно хочет проверить, на каком языке она будет ближе и понятнее Богу.

Молятся с трогательным чувством. Шепчут молитвы пожилые кореянки в строгих белых платьях, и все смотрят, к каким еще иконам можно приложиться! Прикладываются умильтельно и любвиточиво, совсем, как русские солопницы. Дети их оглядываются на них и тоже кланяются, встают на колени, припадают к полу.

Впереди всех, у правого клироса, стоит старожил и глава самой большой семьи! Он в черном купеческом суртуке, наклонив вперед корпус, не сводя строго сосредоточенного лица с алтаря. Не крестится, а отсекает: четкое размашистое движение руки с еще большим движением корпуса вперед и большей сосредоточенностью в глазах.

Стоят молодые женщины с белыми раскормленными младенцами на затекших руках. Все они красавицы, словно вот только что сошли с полотен Кустодиева и Добужинского. Все они в шубах, платках; на детях меховые шубы, вязаные штаны, теплые шапки. Старая Русь еще любит тепло, любит тепло даже в молодом теле, любит парить его при всех случаях — лежанка или церковь! А здесь старая Русь, маленький, крохотный осколочек его, со своей набожностью, утывостью старинной, с рукопожатием после службы, с приглашением на чай, на закуску, на обед.

После рождественской службы, после тропаря, хорошо спетого и по русски, и по корейски, после причастия детей, радостного колокольного

звона и общего рукопожатия и поздравлений, наступили приглашения побывать здесь, зайти туда, навестить этот дом, не забыть и тот.

Несмотря на то, что в Корее невероятная дороговизна и инфляция, несмотря на то, что трудно достать что бы то ни было, столы в русских домах Сеула поражали изобилием всего, включая изобретательность хозяек и их широкое радушие!

После того, как небольшая группа русских служащих Военного Правительства, приевшаяся к однообразию американского армейского стола, в первом доме в короткое время покончила с гусем доброй величины, запив его двумя графинами корейского коньяка, настало время навестить дом старожилы купца.

У него два магазина готового платья, один на Бон Чон, другой на соседней улице. Дома маленькие, тесные, японской постройки, чуть ли ни с вертикальной лестницей на второй этаж. Внизу магазин, наверху, в одной или в двух комнатах помещается семья.

Гостей встречают с трогательным радушием. Усаживают под образа. Величают батюшкой. Глава семьи берется за коньяк, жена за блюда.

— Освободите, — говорит глава с поклоном, показывая головой на рюмки.

— Принимайте, — вторит жена, протягивая блюда.

Гости, еще не отошедшие от гуся, еще хлопая глазами от пресыщения, начинают “освобождать”, постепенно настраиваясь и наростая воодушевление.

Молодая хозяйка, жена второго сына, красавица подлинной русской чистоты: соболинные брови, зеленые глаза, то серьезные, то лукавые, появляется то здесь, то там, задорно звучит ее заразительный смех.

Глава, уже без строго сосредоточенного вида, что в церкви, но с той же четкостью и равномерностью руки, приговаривает “освободите”, на что тотчас же откликается его жена: “принимайте!”

За столом разговор, вольно льется повествование молодых сыновей. Тот же широкий эпос, но география не та. Не то, что еще при отцах или дедах: “везли мы гарнитур на ярманку в Нижний Новгород”, или “закупили мы в Сызрани валенки и везем на дровнях” — старые, привычные места. Здесь уже иное:

— Первые годы, как подались с родины, торговали на Формозе, то есть по ихнему Тайване, в городе Тайнане а уж опосля подались на Шикоку, остров такой, а уж оттель на Кобе. В Кобях, значит, торговали, а года два-три после подались на Иокохаму. А уже оттель, в Кэйджо, а по теперешнему Сеул...

Так слушая заразительные вспышки смеха молодой хозяйки, нетропливое развертывание купеческого эпоса, откликаясь под равномерные приглашения “освободить” и “принять”, гости отсидали час, второй, третий. К этому времени появился из Инчана (порт Сеула, известный русским по старому названию Чемульпо и геройской гибели “Корейца” и “Варяга”) еще один русский, служащий американского транс-

порта, за ним откуда то из других мест другой русский, как бы в живое свидетельство, что нет угла на земле, где бы не ужился русский дух.

Поздно вечером пешком возвращались домой по тихим улицам Сеула. Вначале они были кривые, пока не вышли на главную улицу, ведущую к Капитолии, где сосредоточены отделения Военного Правительства. Снег скрипел под ногами, морозный воздух был чист: в ясном холодае сверкали звезды, словно хотели согреть себя...

Здесь, впервые за четверть века, мы были ближе к родине, чем когда либо. До ней триста с небольшим миль. Ближе к родине, и юности... Давно так же скрипел снег под земерзшими подошвами, и звучал задорный смех юности... Давно, повторяет сердце, ущемленное грустью.

Декабрь, 1946
Сеул, Корея.

Одиночество*

Одному лучше — потому, что когда один — я с Богом.
В. В Розанов. “Уединенное”.

Два мира сотворил Создатель: один плотный, густо населенный (столько то человек на одну квадратную версту); в нем: станки, массы, коммунальные кухни, рогатки и барьера, свастики, серпы и молоты, все различия и все сплавы темных или серых человеческих чувств.

И другой — бесконечный, бесдонный и бесводный, неиссякаемый мир голубого эфира одиночек. Мир такого огромного измерения, что в нем только через столетия соприкасаются пути Данте, Шекспира, Гете, Пушкина...

Бессмертие приходит после смерти. Смерть великого человека открывает путь его дальнейшей (настоящей), бесконечной жизни. Иногда проходят столетия, прежде чем его имя может быть извлечено из пыли забвения.

При изучении жизни каждого великого чело-

* Впервые появилось в “Земле Колумба” под псевдонимом Б. Миклашевский.

века неизменно всплывает одна их общая черта: одиночество при жизни. Страшное, великое одиночество, что не под силу среднему человеку, но взваленное на него, потому что он должен нести эту ношу. В ней, как и в кресте на плечах усталого, слабого Христа, тот же смысл оправдания, необходимый в сокровенных замыслах Творца.

И та же необходимость “принять на себя”...

“Принял” и Данте, и Сервантес, и Достоевский, этим приятием так облегчившие чашу человеческую. Они пронесли в земной жизни давящую ношу и включили в свою личную трагедию неизмеримо великую тяжесть человеческого страдания. Облегчив землю, они обогатили ее.

Действительно, не богаче ли стала земля после того, как пламенный дух многострадавшего Сервантеса направил благородного Дон Кихота на — казалось бы! — бесплодные сражения с ветрянными мельницами?

Творец в своих сокровенных замыслах создал два мира: нижний, где живут массы (бородатый Маркс на раскорячках), нужные для воспроизведения, поддержания плотности населения, уплаты налогов, снабжения армий, вообще “для пополнения различных кадр”.

Другой: мир “изнуряющей мечты”, бесграничный творческий мир одиночек, неиссякаемого

их воображения, замысла, выполнения.

Все, что пришло на землю великим, чистым, благородным, радостным, устремленным ввысь, поражающим воображение и вызывающим восхищение (“чистейшего чувства”), все это от людей, несших на себе и знак отчужденности, и то глубокое чувство одиночества, которое, по какому то неразгаданному закону является неотъемлемым уделом каждого великого человека.

Все это невольно приходит на ум в связи с трагической датой 29 янв. (с. с.) 1837 года и мыслями, что было бы, если нас не разделяли бы эти сто лет.

Можно ли представить себе: Пушкин среди нас, в нашем эмигрантском рассеянии! Всадником иностранного легиона в Алжире, таможенным клерком или сержантом международной полиции Шанхая, счетоводом импорт экспортной компании в Риге, сражающимся в войсках Парагвая, живущим на “шомаж” или на “крохи от литературных балов” в Париже, у станка фордовского автомобильного завода в Детройте, маляром в Нью Иорке, грузчиком в Марселе?

В этом, правда, не было бы ничего особенного: служебные годы Пушкина (в его изгнании) протекали в такой же зависимости, подавленности и нищете; одесский Воронцов даже послал его с низшими канцелярскими служащими на истребление в степи саранчи.

Был бы Пушкин в толще политических страстей, общественных, церковных и других раско-

лов, в этом нашем, столь нетерпимом, партизанстве?

Довлела бы в его памяти по России часть над целым, личное над общим, малое над великим, мимолетное над вечным?

Вероятно, страстей наших Пушкин не миновал бы; так же вероятно, что здоровая волна творчества вынесла бы его на другие, более прочные и радостные берега.

У Пушкина среди нас было бы мало друзей, больше врагов, и еще больше — безразличных людей, для которых его имя, как велико оно уже ни было бы, не представляло бы никакой ценности.

Действительно: “камер-юнкер” определил бы в нем человека на общественной лестнице весьма скромного; звание поэта было бы совсем призрачно и не могло бы не вызвать — в лучшем случае — мимолетного сожаления.

Был бы написан “Евгений Онегин”, “Медный Всадник”, “Борис Годунов”, повести Белкина, “Капитанская дочка”? Его произведения перепечатывались бы самым бесжалостным и беспастенчивым образом целым рядом не-этических русских газет; и у него, при виде этих (краденых) перепечаток, могло быть только одно удовлетворение, что редактор не внес в текст свои исправлений или не подписал их чужим именем.

Пушкин — у фабричного станка, тоскующий по своим ненаписанным страницам!

И Пушкин — “бездельник”, бросивший станок, и на “крохи” работающий над окончанием

“ Бориса Годунова ”.

Вот два образа Пушкина, два его лица, которые жили бы среди нас. Вернее — два его лица в наших глазах ; и каждый из нас мог бы выбрать — по складу своей души — первое или второе.

Первое лицо — у меньшей части — вызвало бы невысказанную грусть и боль. Второе — мимолетное сожаление и порицание людей, прикрепленных механической душой к станку.

Но сам Пушкин среди нас жил бы в страшном, глубоком одиночестве.

Трагическую судьбу многих наших писателей нельзя приписывать только одному народу. История человечества, обведенная по *ею* вершинам — его великим людям, есть история духовной и физической жестокости и варварства. Нищета и зависимость, равнодушие и преследование, изгнание, узы и темница, пытки, костер и дыба.

Их не избежали ни Данте и Галилей, ни Сервантес и Колумб, ни Леонардо да Винчи, ни Ян Гусс и Андрей Шенье, ни Оскар Уайльд и Гумилев, ни десятки других.

Мало что изменилось в этом отношении на земле за многие века ее просвещенной жизни. Изменились приемы и средства, нет костра и дыбы, но суть осталась неизменной. И так же правит железный круг слепой человеческой повторяемости.

Люди сегодня ставят памятники своим великим, которых преследовали их деды и прадеды,

и которые за свою жизнь до краев испили горькую чашу ; и преследуют или. и лучшем случае, остаются равнодушными к страшой нужде и лишениям своих великих современников. Внуки и правнуки “сегодняшних” поставят им памятники через сто лет.

Кольцо, которое нигде (и, пожалуй, никогда) не разомкнется.

Недавние гонения на Шостаковича в Москве, сожжение на костре книг Леона Фейхтвангера в Германии — это дела наших лет, нашего “сегодня”. Образ художника, умирающего от истощения на чердаке ; похороны, устроенные богочестивым родственником, цветы на них — целое состояние, на которое мог бы жить и работать художник многие еще дни ; его картины, распроданные с ошеломляющей быстротой (не успели снести тело с чердака), что при жизни его было невыполнимой задачей, — все это не плод досужей писательской фантазии !

Это наше “сегодня”.

Современник Пушкина Стендаль видел перед собой стену безразличия, далекие пределы своего одиночества, не даром говорил он: “если к 1920 году мои книги будут иметь значение, тот, кто, найдет золотое зерно, не задумается вытащить его из навозной кучи”. Его многие годы в скучном местечке, что скорее (он не обольщал себя) было местом его изгнания. “Вот здесь так долго прожил наш бедный Стендаль, не спуская глаз с Парижа”, с грустью замечает Тэн, четверть века спустя по дороге в Рим попавший в Чивита-Веккиа. Стендаль — тогда уже забвение.

Стендаль — “последнее великое проявление европейского духа, промаршировавшего наполеоновским темпом через всю его собственную Европу, чтобы найти себя — к концу — в страшном одиночестве, так как понадобилось три поколения, чтобы приблизиться к нему” (Ницше).

Видел это страшное одиночество в Америке Эдгар Аллэн По, ее великий писатель. И кроме одиночества — страшное лишение, нищету, преследования. Современники были во многом не правы в отношении По (среди них раздавались голоса, что По ускорил смерть жены своей поэмы “Ворон”).

“Я был болен — болен смертельно той долгой агонией; и когда, наконец, меня развязали и позволили сесть, чувства оставили меня” — так начинается повествование одной из наиболее жутких его вещей: “Яма и маятник”.

Жизнь По была “долгой агонией”, пока его не подобрали на улицах Балтимора в ужасающем состоянии и “не развязали” в Вашингтонском госпитале одним воскресным октябрьским утром (12 лет после смерти Пушкина).

Преследования По продолжались и после его смерти. И должна была выйти (одно издание 40 лет спустя) брошюра под значительным заглавием: “Защита Эдгара Аллэн По. Жизнь, характер и предсмертные заявления поэта. Официальный отчет о его смерти госпитального врача J. J. Moran”, и еще 40 лет спустя — книга с более значительным заглавием: “Убийство

Эдгара Аллен По" (*The murder of Edgar Allan Poe* by J. A. T. Lloyd), чтобы окончательно установить в беспристрастном свете истории подлинный лик великого человека и выяснить роль современников в "долгой агонии", но краткой жизни его.

Теперь сделать паузу и перейти к тому, что должно составить суть этих беглых заметок.

Сто лет со дня трагической смерти Пушкина отмечаются у нас в "рассеянии" широким и достойным образом. Много работы сделали различные "Пушкинские комитеты" в русской среде и в деле развития интереса к имени и значению Пушкина — в иностранной.

Но как во всякой работе, во всяким человеческом движении, и здесь может истинное соприкоснуться со случайным, стоящее с незначительным, важное с мелочным. Действительно, так ли важно будет отметить еще раз Пушкина, как "народного поэта", "невольника чести", "представителя" и т. д. — в темах (для их авторов) слегка и наспех реставрированных со времен (довольно далеких) гимназической скамьи? Не будет ли возможным — и насущно-важным — перенести фокус нашего внимания, фокус, значительно усиленный пропущенным через него пушкинским светом, на ряд других вещей, имеющих прямое, хотя и не совсем заметное, отношение к самой сути!

К великим людям и их современником.

К працедам и правнукам.

К не разыкающемуся кольцу и трагедии повторяемости.

К темам, которым можно было бы посвятить всю жизнь.

Если не сделать положительного вывода, то в значительной степени будет обесценена и задача, и значение для нас (особенно — в "рассении") "Пушкинского дня".

Через 50–100 лет будут изучать русскую эмиграцию в целом и по отдельным ее великим людям в частности. В этом процессе — вопреки аксиоме — часть станет неизмеримо больше целого. На изучение будут отпущены средства, ряд людей заточат себя на годы в архивы; муниципалитеты городов переименуют некоторые свои улицы, дав им имена этих людей, поставят им на своих площадях памятники, привинтят бронзовые плиты на домах, в которых они жили, гиды будут показывать комнаты, столы, стулья, музеи увековечат чернильницы и ручки и т. д.

Будут написаны десятки книг с ссылками на "горький хлеб изгнания и тяжесть чужих ступеней"; книги будут свидетельствовать о тяжкой нужде, страданиях, людском безразличии, раннем забвении, близорукости и попустительстве современников...

Правнуки будут читать эти книги, доброе сердце над ними прольет слезу, благородное сердце крепко сожмет руку: там будет много, от чего сожмется благородная рука!; пылкое сердце вздохнет о невозможном, трагически непоправимом.

Иногда трудно говорить о фактах. Еще труд-

нее о них молчать.

Вот одно из свидетельств, выдержка из письма (письмо не было написано для "печати", да простит эту вольность—автор его, наш большой маститый писатель, В. Амфитиатров):

"Недавно умершего А. А. Яблоновского похоронили на свой счет сотрудники "Последних Новостей", потому что среди сотрудников "Возрождения", по бедности, нельзя было сделать сбора. Между тем Яблоновского едва ли не каждая статья перепечатывалась всеми газетами, да и прессой "лимитров". Если бы каждая перепечатка давала ему хоть 10 франков, он жил бы, и умер бы безбедно, а не в "ужасных условиях"... Когда я вижу бесзастенчивую перепечатку своей статьи, то испытываю чувство нищего, с которого грабитель сдирает мало что рубище, но еще и сумму"..."

Это одно из многих свидетельств нашей, во многом такой неправой, жизни. Многое в ней могло бы быть исправленным, облегченным, труд писателя защищенным от литературного грабежа, внимание к ним — усиленным...

Место умершего Яблоновского занял другой, рядом с ним второй, третий, десятый. Их вещи перепечатываются десятками газет. Задумывается ли читатель, что здесь на лицо вопиющая несправедливость, настоящее грабительство, попрание прав, святости чужого труда? Что позади — страшная нужда, жестокие лишения, безвыходность? Что Пушкин среди нас был бы совершенно в таких же условиях?... Что Пушкин, на требование об уплате за перепечатки

своих вещей, мог бы получить от редактора газеты такой ответ: "да, мы знаем, что мы мерзавцы, перепечатывали и будем перепечатывать вас. Что вы с нами сделает". (Это глумление не вымышленно: приводятся подлинные слова одного такого редактора).

Наше собственное внимание к нашей литературе, внимание читателя, отклик его — тот кислород, без которого не возможно дыхание писателя, без которого полное удушье... У нас нет в эмиграции юношества, пылкость и увлечения которого "возносили имена и укрепляли славу", юношества, жадного на впечатления. Тем более внимательным должны быть мы.

Одиночества великих людей нам не облегчить: это сам Бог распределил среди них часть своего великого бремени. Но как можно много сделать другого, пока еще не поздно.

И тени Пушкина, витающей близко над нами, было бы легче, если бы стало легче его кровным сынам на нашей трудной земле.

Январь, 1937
Сан Франциско

Крутится, вертится

Приземистая, толстощея, с крупными носами и губами, родина вошла медвежьей походкой и выравнялась линией, сверкая генеральскими погонами и золотым шитьем дипломатических мундиров.

Начался прием. Длинной вереницей подходили к ним гости, раскланивались, здоровались, обменивались несколькими словами.

Час спустя все растворилось в одной толпе, теснившейся вокруг длинного стола с закусками и питьем, в возбужденном шуме голосов, в белых вспышках репортерских камер.

В смешанном шуме, сквозь звон посуды, грохот ног, навязчивой нитью вился в голове мотив: "Крутится, вертится шар голубой". Без всякого отношения и связи, но с маниакальной навязчивостью, только менялись слова: "Вот эта лестница, вот этот дом..."

Затем раскрыли стеклянные двери в сад, и все вдруг увидели, что за окнами, в золотой пыли Сеула, лениво таял июньский день. Японский дом сливался с садом, переходя незаметно к газону, к пруду, уложенному камнями, с пла-

вающим, водяными лилиями.

Сановная родина пробралась через толпу и таким же порядком выстроилась на лужайке: два советских генерала, два полковника, два высокого ранга дипломатических чиновника. Была и свита, несколько шустройших молодых людей в плохо пригнанном штатском платье.

Под ярким солнцем синего дня родина выступила еще рельефней, чем там, в комнатах, сдавленная толпой приема. Она выстраивалась то здесь, то там, расправляла груди, поднимала плечи, ставя ногу на каблучек, то откидывая коленцо под щелканье фотографических камер, пока неотвязчивый мотив выкидывал другие слова: "Вот эти погоны, вот это шитье..."

Сперва родина деликатно держала стаканы большими и указательными пальцами, откинув другие, особенно волосатые мизинцы, и далеко задирала головы, когда отпивала. Но вскоре они перехватили стаканы снизу, за дно, подперев его ладонями и опутав крепко пальцами.

После официальной части приема родина заговорила свободнее. Сперва медленно, словно речь ее была связана с медвежьей походкой и выступала, заплетаясь носками вперед. Затем увереннее, с усмешкой, с хитро пришуренным глазом, играя для выразительности пальцами, содрагаясь от смеха животами под сановными мундирами и толстыми жировиками шей над золотым шитьем воротников.

Накануне, в вечер короткого медового месяца совето-американского альянса, с советским майором, офицером связи, был долгий, задушевный

разговор. Обсуждалась судьба трех лиц: Анны Ахматовой, Зощенко и маршала Жукова. О первой майор знал только по наслышке; о последнем тщательно избегал говорить: если пал маршал, то майору лучше заранее втянуть голову в плечи. О Зощенке же мог поговорить с удовольствием, тонким пониманием и теплым родственным чувством, так как не мало раз сам, в той или иной подходящей роли, не без успеха выступал на страницах его рассказов.

Разговор коснулся двухчасовой государственной речи Жданова, посвященной двум лицам, от которых огромной и мощной стране нужно было освободиться, как от вредного и опасного элемента: от шестидесятилетней Ахматовой и Зощенко. Последний не так давно еще слыл за верного обличителя не-коммунистического быта, мелкого героя советского блата. Теперь же стало по иному, или как просто, веско и значительно сказал майор: "мы Зощенку казнили морально"!

Но на приеме, особенно на лужайке, стало сомнительно, что "казнили", так как Зощенко не только появился сам в отменном здоровье и в полном обладании своего замечательного дара, но и прихватил с собой во всей красе и слаughtности отличный подбор представителей быта. То, что быт был на лицо, не могло быть никаких сомнений. Их превосходительства генералы и ясновельможные паны сановники сами заговорили так, что не нужно было "воскрешать казненного".

Родина начинала все словом "вот" и "выховаривала на хэ"; она останавливалась, шевел-

лила для твердости пальцами в воздухе, хитро подмигивала, всматриваясь пытливо в глаза “дорубил или нет?”

— Вот. У нехо пацан и пацаночка (мальчик и девочка), а откуда-ж тапочки захотовить на всех, да, опять же, супрухе бюстхалик?! А у нас власть захотовляет. Одиноково для храждан и хражданочек! И хенерал подтвердит, что власть захотовляет!

— Отчего он такой хрустный и хорюеть? Да как же не хоревать — похорел на докторше. (Влюбился и страдает).

— Вот. У нас так не пьют, чтобы с водой мешать или льдом. Только сырость разводится. Зачем. У нас пьют храммами, вот так, — раздвигая в кулаке мизинец и большой палец, — вот, так, порция, на все сто храмм. А который хромадно больше может выпить, заказывает на все двести. На “храммы”? Да у нас все так говорят, одинаково на военке или хражданке!

На фоне советской формы, золота погон и шитья дипломатических мундиров, орденов и лампас, неудобно было коснуться этого, еще так недавно присвоенного сверканья! Обстановка даже вызывала возможность, время от времени, значительно обронить то здесь, то там “ваше превосходительство”, что неизменно оскабляло лица “хенералов” в улыбку самодовольства.

О погонам был исторический разговор с тем же самым майором.

— Похоны? — отозвался майор сразу. — Да с хотовностью! Вот. У нас разбирают. Вот... В шестнадцатом ходу одно, — отодвинув и плотно

пригнув к здоровенной ладони палец. — В семнадцатом ходу, конечно, друхое. Которые были в форме, стали золотопохонниками, врахами народа, белохвардейцами. А теперь похоны по заслухе. Теперь по друхому По советски. У нас хосударство ход дает. Особенно на военке. Да и на хражданке выделяют. Выхребать можно ! Вот.

Июнь, 1947
Сеул, Корея

Свет и тень барельефа

Крупный, здоровый, с широкой крестьянской спиной, поясницей и задом, с длинными жилистыми руками, он сидит в кресле, как вросший, и неторопливо рассказывает о своей жизни. На его гладком лице играет выражение то счастья, если рассказ о хороших местах, то страданья, до которого он необыкновенно чуток, даже если рассказ и повествует о давних делах. А говорит он о том, что произошло с ним двадцать с лишним лет тому назад, когда он, двадцатилетним парнем, скрываясь от воинской повинности, бежал из своего города. В подводе у него замерзли ноги и он стал плакать.

— Слава Богу, — говорит он с чувством радостного облегчения, — что возница оказался толковый. Повернулся и говорит, что, паря, ноги застыли? А ну ка, возьмись за задок кошовки, да побеги! Взялся я, холодно, слезы, а бегу. И, знаете, согрелся, повеселел, даже есть захотелось, а то, ведь, совсем... А почему? Все вместе взятое, и что ухватился за кошовку, и что побежал, кровь к ногам прильнула...

Рассказ его полон мертвых слов. В нем и “во

всяком случае", "все к одному пришлось", "совсем, знаете, понимаете", "все вместе взятое". Он любит слово, даже щеголяет им, но все они у него на один лад и звук: киношка, макарошки, накидушка, крупорушка, арбушка; кроме них, стрижка-брижка, борзая, осмотр, ложить. ("Я в табак всегда яблок ложу".)

Еся его жизнь в своем счастье и в своих страданиях. — Купил ботинки, а они, знаете, жмут вот в этом самом месте, — говорит он с чувством незабываемого огорчения. Кроме себя, у него и другой мир, заключающийся в себе круг семьи, жена и дети. Все они у него исключительные люди, о которых он говорит особым голосом, называя их по именам, не сомневаясь, что все знают их так же хорошо, как и он сам.

— Лялечка, знаете, так по началу шоколад ела, что даже испугалась, как прибавила. Знаете, все вместе взятое...

Он опасливо поглядывает на окно позади себя, громоздит креслом и говорит с усмешкой извинения:

— Боюсь застудить голубую кровь своей спины. — Какого цвета она у него ниже, он не говорит.

Он продолжает рассказ так же неторопливо, припоминая детали, озаряясь улыбкой счастья, то расстраивая себя воспоминаниями пережитого страдания. Он предлагает слушателям потрогать его руки, чтобы они знали, как они замерзли, и даже готов снять ботинки, чтобы показать, что у него от холода белые пальцы. Он возвращается от этих уклонений, он все еще вьется

вокруг мест своей юности.

О приезде в Америку он говорит с особым чувством. Он видит Божий промысел в том, что приехал незадолго до начала войны, когда было много работ и мало рук. Пролитая кровь, страдания народов, жестокость и ужасы войны улеглись безропотно на маленькую чашу весов, чтобы на другой уравнить его собственное счастье. Об этом он говорит просто, улыбаясь широко и радостно :

— Мне, знаете-понимаете, на самом деле подвездло ! Меня Бог обнес тем, что досталось вам : безработица, депрессия, тяжелая работа. Так все, ей Богу, хорошо все к одному пришлось, приехал, и все устроено, работы, какой хочешь, и заработка, суммируя все вместе... Но, правда, был момент, — с потемневшим от воспоминания лицом. — Был момент... Первый день, когда поступил по ошибке и незнанию на завод грузить ящики. Днем наработался, вечером вернулся, сел, но не плакал, сидел молча и кушал суп. И семья сидела молча, придавленная, смотрела на меня, но никто не спросил ничего. Чуткая, знаете, она у меня... Может быть и хотели спросить, как бедный папа, но, суммируя все вместе взятое, не спросили. А я молча докушал обед...

На другой стороне, через узкий коридор, за дверью, оббитой войлоком, живет два человека. У женщины продолговатое лицо, нос с горбинкой и прижатыми крыльями ноздрей, продол-

говатые глаза с зелеными, глубоко загорающимися точками, сухие пальцы с крепкими ногтями. Сухощавая, с легко перегибающейся спиной, в простом черном платье. Простая прическа, цвет волос переливается из коричневого оттенка в светло каштановый.

У него смуглое лицо, темные вьющиеся на висках волосы, смелые насмешливые глаза, острые, когда он прищуривается, добрые, когда он широко и заразительно смеется. К такому лицу можно долго приглядываться, и чем дольше, тем больше оно начинает нравится. Такое лицо было у Байрона, было оно у некоторых героев Отечественной Войны, у героев Лермонтова.

Они недавно бежали из Манчжурии. Он попал туда восьми лет, когда его родители перебрались после конца Гражданской Войны. Она родилась там.

Они выросли вне России маленьким островком среди стрелочников и весовщиков, но что то осталось у них, что могли передать и завещать им только их родители, что то, что стало их собственным, что никак нельзя было отнять у них.

Полтора года назад в Манчжурии показались части Красной Армии. За ними пришли отряды НКВД. Начался не столько суд, сколько расправа.

— Еще до их прихода, — говорит он, — мы с младшим братом часто говорили с надеждой и подъемом: вот придут части Красной Армии, молодой армии, победившей немцев. Они молодые, брат, и мы с тобой молодые, мы поймем

друг друга. Как молодость, она на многое не смотрит, ей только важно основное. У молодости дух! Она щедрая и пылкая, а, главное, брат, она честная... Это прежде всего! Ее не подкупишь... Когда были только части Красной Армии, все было хорошо, пока не пришли отряды НКВД. Тогда началось, но еще не сразу. Примерно, полгода спустя их прихода, взяли отца и увезли. Увезли отца жены, и он умер там. Около семидесяти лет человеку... Взяли младшего брата. Судили. Дали двенадцать лет лагеря... Когда его уводили, мне все еще казалось, что я слышал его восторженный голос: "у молодости дух... юности важно основное, она не робкая, отважная, легко не преклоняется... у ней дух". Потом взяли сестру. Она служила машинисткой, хорошо знала японский и китайский язык. Судили, дали десять лет лагеря. За компанию дали восемь и ее мужу... Перед отправкой она присыла передать маме, чтобы та не беспокоилась, что все будет хорошо, что даже там она будет такой, какой была дома, что она благодарна маме за тот дух, что она дала всем нам, и что она передаст этот дух своим детям, если они будут у ней... Она была мужественна и покойна, как младший брат, как много других молодых мужественных и стойких людей. Они не поддались на испуг, им была чужда заячья робость душ...

Свет и тень барельефа! В глубоких местах его, в сгущенных тенях таится порок и "от-

мщений алчущие преступленья.” В них низкое и темное, но оно сильно и имеет мощное право на жизнь. Можно ли клеймить порок с его огромной и непобедимой силой? Со всей соблазнительностью и помрачающей разум сладостью? Тяжкий грех преступлений, как несмытое злодеяние Каина братоубийцы и Иуды предателя, от которых, казалось, земля обуглилась от угрозы и облилась кровью! Порок страдает, клеймят его или нет, он мучается и терзает себя, и в минуты своего высшего терзанья и раскаяния он сверкает, не уступая по яркости самым светлым местам.

Можно ли клеймить тяжкий порок, пригвождать его? Порок и возмездие, преступление и наказание, грех и тяжкие муки раскаяния, они таятся бок о бок в глубоких местах, в сгущенных его тенях, которые так ярко выделяют светлые места, без которых никогда бы не ожидал барельеф.

Но между светлыми — высокими, и низкими — темными местами есть серые, мелкие места, к которым льнет серая робость заячьих душ, мелкий страх перед ощущением маленького неудобства, холода, боли уколотого пальца, усталости изнеженной крестьянской спины. Там серость, которой никогда не скатиться вниз до глубоких теней, и никогда не подняться до яркого света высоких мест. Там серость, которая больше всего на свете любит себя, разъедающий тлен своей болотистой прелости...

Когда в одном доме, через узкий коридор,
за двумя войлоком оббитыми дверями видишь
с поразительной остротой эти пятна барельефа
и почти проводишь по ним сомневающейся ру-
кой, как отвернуться от них и закрыть глаза,
как удержать свое внезапно дрогнувшее сердце,
как можно заставить его остывать и оставаться без
слов!?

Январь, 1947
Сеул, Корея

Васка да Гама

“События надвигались с невероятной быстротой. Еще не так давно можно было только предполагать и спорить о планах Германии. Но вчера она вышла на путь практического выполнения их. В этом узле исторических событий я даже не заметил, как сделал путь от кафедры университета до вокзала. Так же не заметил десятки поездов, в которых, с сотнями и тысячами подобных мне, я провел значительное время не столько в движении, сколько в ожидании его... Вагоны, чужие вокзалы, очереди за скучным пропитанием, очереди для проверки документов... О, как тяжек хлеб изгнания и как тяжелы чужие ступени!”

Приват-доцент Никанор Михайлович Кандыба перевернул страницу дневника и глубоко задумался. По привычке протянул руку в сторону, где еще не так давно, во Львове, у себя в квартире неподалеку от Университета, на столе кабинета стоял стакан крепкого чая в серебряном подстаканнике.

В неудержимом волнении он встал и прошел к единственному окну, с руками глубоко засу-

нутыми в карманы, с высоко закинутой головой, со сверкающими стеклами пенснэ, в котором отразилось что то похожее на слезу, с всклокченной бородой над растегнутым воротником рубашки. Он открыл окно и обвел медленным взглядом город внизу.

— Из всех городов — Лиссабон! — сказал он голосом, в котором звучало все, но только не радость по поводу пребывания в этом городе.

Он широко раскрыл окно и наклонился над подоконником. Внизу, в узком переулке, около ссорных ящиков дети были заняты тихой со средоточенной игрой. Со стороны улицы, в которую вливался переулок, шел приглушенный грохот трамвая, спускавшегося к порту. Выше, над крышами черепичных домов, поднимался город под косыми лучами заходящего солнца. Вдали, по ту сторону долины Алкантар чуть заметным силуэтом поднимались арки многовекового акведука.

Не только на душе приват-доцента Кандыба, но и в самом воздухе, повисшем над городом и долиной в надвигающейся тишине сумерек, сквозило такой грустью, что он поспешил отодвинуться от окна в тень, высоко закинув голову. Только по дрожащей бороде можно было судить, что ему было совсем не по себе.

Было, конечно, отчего прийти в расстройство чувств. Последний поезд, который вывез его из Берлина, был переполнен иностранными кореспондентами, членами правительственные миссий и богатыми туристами. После долгих мытарств ему удалось добраться до Лиссабона. Здесь

ждали новые разочарования: атлантический клиппер, единственное звено с Америкой, представлял такие же затруднения, как путь в рай. Очередь на места была расписана за месяц вперед. Кроме этого были почти непреодолимые трудности с получением бумаг, предъявлением документов и нужных средств. Посещения консульств и компаний воздушных линий не приводили ни к чему.

Лиссабон был переполнен. На Авенида да Либертадас можно было пробраться с трудом. Цены на все стояли высокие. Несколько его коллег по Университету пробивались скучным и случайным заработком. Два, три художника, еще недавно с завидной известностью в своих странах, жили тем, что делали скетчи людей, еще обладавших средствами, на Праса да Коммерсия и у кофеинь Эль Примандо.

Увы, приват-доцент Кандыба не обладал никаким даром, могущим дать ему хотя бы скучный заработок! Что оставалось делать уже значительно продвинувшемуся в годах профессору истории, как ни заняться историческими исследованиями, хотя бы ради того, чтобы заполнить пустое время! Его интересовала область зарождения Лиссабона, два его периода, ранний времен финикийского завоевания, когда имя его было Осилипо, и последовавший времен римского завоевания, когда город был известен под именем Фелиситас Юлия. Слыша свистящую речь, он хотел найти в португальском языке звуки других языков. Ему хотелось побывать в Испании, на отрогах Пиреней, в области, населенной бас-

ками, чтобы заняться филологическими исследованиями их языка, связь которого с некоторыми кавказскими племенами, особенно с языком осетинов, всегда интриговала филологов.

Он хотел бы сделать многое, побывать там и здесь, но об этом можно было только мечтать в редкие минуты, забыв о своем положении беженца, не знаяшего, что его ждет завтра.

И так, в тот вечер, дописав строку из Данте, приват-доцент Кандыба отошел от окна, за которым уже начинал спускаться тихий вечер, с зажинутой головой и дрожащей бородой, с глубоким волнением и влажными глазами повторив:

— Подумать, из всех городов — Лиссабон!

Он не знал, что здесь, в Лиссабоне, с ним случится что то настолько невероятное и фантастическое, о чем не только нельзя было бы предполагать, но что даже никогда не могло бы прийти ему в голову, что именно ему суждено будет раскрыть одну из самых величайших тайн мира.

Случилось это на следующий день, когда после долгих бужданий среди старины города, он свернул с Аvenida да Либертада в боковую улицу и стал подниматься в гору.

Сверху торопливым шагом спускалась вереница повозок с толпой погонщиков мулов, фармеров и их жен. Чтобы пропустить их, он отступил назад в узкую как ущелье улицу, которая также шла наверх каменными плитами.

Солнце еще было на крышах домов на другой

стороне улицы. Внезапно упало несколько тяжелых капель дождя. Профессор Кандыба закинул наверх голову, шевеля задумчиво клином бороды. Еще несколько капель упало на его бороду, и затем с лихорадочной бойкостью дождь побежал по черепичным и железным крышам вниз к подножию города.

Он хотел перебежать улицу и скрыться под навесом дома на другой стороне, но в это время погонщики и мулы, гремя колесами по мостовой, загородили ему путь. Он отступил назад и поднялся на ступени, вскинув воротник пиджака и втянув голову в плечи. Дверь в дом была полуоткрыта. Он заглянул внутрь. Это был музей, один из многих, разбросанных по Лиссабону.

Внутри почти никого не было кроме скучающих сторожей. Профессор Кандыба постоял в вестибюле, равнодушно обведя глазами по стенам, вдоль которых стояли шкафы с одеянием португальских королей времен средневековья. Он подошел к двери и пытливо посмотрел на темное небо, вслушиваясь, как барабанил по крыше и мостовой дождь. В нерешительности он прошел мимо мертвого великолепия королевского дома Авиз, Лион и Арагон, мимо коллекции индо-китайских и индусских ценностей, бразильских момент, и большого отдела, посвященного поэту Камоенс, пробираясь вперед к свету, падавшему из окон в конце амфилады зал.

В последнем зале был отдел Васка да Гама. Так как здесь производили ремонт, шкафы и зеркальные витрины были сдвинуты со своих мест.

Остановившись у одного из шкафов, хранивших предметы великого навигатора, профессор Кандыба скользнул по ним глазами, не столько рассматривая их, сколько в состоянии душевного смятения думая о своей участи и участь других подобных ему. Сколько времени пробыл он там в задумчивости, скользя отсутствующим взором по экспонатам, он не знал, но вдруг ясно он увидел свою родину, север, типичные церкви северного стиля, зубчатые срубы теремов, словно только что чудом перенесся в Новгород или Псков пятнадцатого-шестнадцатого столетия.

Это внезапное ощущение было настолько сильно, что ему показалось, что он даже почувствовал запах севера, унесший его далеко в другие земли и времена. Живя в фантастическое время и уже привыкший ко всему и принимающий все с покорностью примирившегося человека, он даже спросил себя, опешив немало себя же, было ли когда нибудь у него время мирной профессорской работы в России, затем во Львове, был ли последний поезд из Германии, бесплотные надежды на атлантический клиппер? Не мерещилось ли ему все это, пока он **сам**, в другое время и в другой обстановке, совсем не профессор истории, Н. М. Кандыба, с несколькими скромными, но хорошо отмеченными трудами, а совершенно другой, стоял у частокола в Новгороде, глядя на тихие воды Волхова?

Он отряхнул себя от этих **мыслей** и подошел к окну.

Далеко над крышами каменных домов спускались сумерки, хотя кое где закатный отблеск

еще горел на мокрых черепицах. Со стороны Праса да Коммерсио приглушенно доносился шум Лиссабона.

Состояние душевного смятения почтенного профессора не проходило. Вернувшись снова к шкафу и облокотившись о витрину, он стал не столько рассматривать предметы под стеклом, сколько собираться со своими мыслями.

Прошло еще значительное время, пока его рассеянный мозг с невероятно правдивым ощущением очевидности еще раз провел его по северу родины, вызывая в нем еще большее смятение духа и поднимая непередаваемую грусть, пока его глаза блуждали рассеянно по наваленным небрежно в кучу вещам Васка да Гама. Было бы вернее сказать, что его глаза не блуждали, а были устремлены в одно место, в край страницы открытой книги, придавленной другими экспонатами.

Когда то, что видели бессознательно его глаза, дошло, наконец, до его сознания, он понял причину своего невольного блуждания. Но это было еще мало. Профессор пережил такое невероятное изумление, подобное чему ему не приходилось переживать прежде, несмотря на всю его тревожную и полную неожиданностей жизнь.

В тот заходящий час печального дня он не мог еще дать себе полного отчета, что ему удалось совершенно случайно наткнуться на изумительную историческую находку, которой суждено будет, кроме выправления исторической правды и отведения того, что по заслугам принадлежало

другим, вероятно даже изменить часто меняющиеся карты мира.

Но в тот памятный час, смущенный и расстроенный в чувствах профессор не мог еще думать об этом. Слишком неожиданным было то, на что случайно набрели его глаза и что с трудом различали в быстро надвигающихся сумерках, под мутным стеклом витрины, среди вещей великого навигатора.

Придя совершенно в себя, уже в полном сознании огромного значения этого открытия, приват-доцент Кандыба разобрал кусок страницы, прикрытый пергаментным свертком, куском выцветшей муаровой ленты и медным компасом. Старинным почерком, славянской вязью на титульном листе было тщательно выписано :

А кто сию кингу возьмет из дома Божия, на том будет тягота церковная. Теды мы будем с ним суд имати на втором страшном Христовом пришествии пред нелицемерным судьей, который воздаст каждому по заслуге...

Дальше титульный лист был прикрыт другими предметами, но ниже можно было разобрать еще несколько строк :

А кто изволит сию книгу продати, да будет проклят на сем свете и на том от Великого Бог Саваоф и от всех ангел и от всех пророк и мученик, и от святых огец или купит ее, также да будет проклят, или выдерет единопроклятие примет и со мной суд будет имать во второе Божие пришествие, егда Судья сядет банный и нелицемерный тысячами ангел окрест Его.

Трудно описать состояние профессора в тот закатный час в маленьком музее, да и сам он

ни за что не взялся бы сделать это, так как у него не хватило бы ни слов, ни умения! Кто другой на его месте не пришел бы через сложное чувство изумления, даже потрясения, еще только чуть-чуть, краем глаза, встревоженным блеском стекла пенснэ, заглянув туда, где этой случайной находке суждено будет принести так много значительного миру!

Он стоял в пустынной комнате, не замечая, как догасал за окном день, пока мысли лихорадочным роем проносились в его голове. Он никак не мог связать Лиссабон, забытый маленький музей, сваленные вещи в отделе Васка да Гама, с церковной русской книгой, с ее тщательно выписаным листом. И все же он чувствовал, что там была какая-то крепкая, неразрывная связь.

Как долго стоял он там в тревожном и возбужденном раздумье, он не мог дать себе отчета. Он то опускал голову над стеклом шкафа, стараясь разобрать в темноте строки, то поднимал ее вверх так, что клин трясущейся бороду устремлялся в потолок. Он стоял бы там весь вечер и всю ночь, если бы сторожа не вывели его к дверям уже закрывшегося музея.

— Древняя русская книга в коллекции Васка да Гама! — повторял он возбужденно, шагая по вечерним улицам Лиссабона, то ступая одной ногой по тротуару, другой по мостовой, то идя по средине улицы, не замечая прохожих, пройдя поворот в свою улицу и даже забыв зайти в лавку, где он каждый вечер покупал хлеб и полфунта кровяной колбасы.

— Как она могла попасть туда, какая связь скрывается между великим навигатором и книгой? — не переставал он мучить себя вопросами, которых не мог разгадать. — А язык: “а кто изволит сию книгу продати, да будет проклят на сем свете и на том от Великого Бог Саваоф, и от всех ангел, и от всех пророк и мученик...”, нет, не может быть никакого сомнения, что язык времен Васка да Гама. Но как она могла попасть к нему, как могла лежать под спудом его вещей целые столетия!?

В ту ночь он не спал. Он то вставал и шлепал босыми ногами, пугая и досадуя этим скребущуюся мышь, то опять ложился, выпраштывая из под одеяла бороду и тряся ею в лихорадочный ход своих мыслей. Он временно забывался, но опять представлял перед его глазами как символ чего то, имевшего огромное значение, тяжелый португальский пергаментный сверток и массивный медный компас, придавившие своей тяжестью загадочные страницы со славянской вязью, скрыв на века тайну глубочайшей исторической загадки.

— Но какой, — спрашивал он себя, сбрасывая ноги на пол и прислушиваясь кочной тишине, из которой мог бы прийти ответ, но все было приглушенно тихо, даже притаивалась мышь, и только внизу тяжело ворочался и хралел младший брат трактирщика.

Путь великих открытий Васка да Гама лежал вдалеке от Московской Руси XV столетия, и никаких точек соприкосновения между Португалией и Русью не было. Исторический путь

Васка да Гама лежал на легендарную Индию, сказочную Голконду и выше, к фантастической стране Кошин; путь этот лежал не через Средиземное Море и сухим путем через Малую Азию, где еще можно было допустить встречу с предприимчивыми русскими людьми, торговавшими с Византией, или пробиравшимися в святые земли на поклонение Гробу Господня.

Путь Васка да Гама шел в окружении западного и восточного берегов Африки, удалясь совершенно от пути, который Иван III Калита прокладывал к Константинополю, сердцу Византии, в неудачной попытке, только на основании брака с Зоей Палеолог, занять трон Восточной Империи.

— Как же это случилось, — спрашивал он себя в который раз, одевая ненужное в темноте пенснэ и тряся клином бороды, — а ну, еще раз пройти по пути! Свернул с Авенида да Либертадас, прошел два-три квартала по узкой улице, свернул еще раз, стал подниматься в гору. Так. Волы и погонщики. Волы или ослы? Не так, впрочем, важно. Главное, что отступил в другой переулок. Это — важно. Второе — дождь. Нырнул под навес. Сперва в подворотню. Затем на ступени открытого входа. Три. Прошел мимо португальцев — королей и сторожей. Прямо на солнце. Вот, что самое важное — прямо на догорающее солнце в конце ряда комнат. А там крепко задумался? “... от святых отец или купит ее, также да будет проклят или выдерет единопроклятие примет...” А это каким же образом?! Вот, это и есть — каким образом!

На следующий день профессор Кандыба достал все, что мог в библиотеке на немецком и французском языках и вооружившись словарями, принялся усердно за изучение блестящего веяния открытий Португалии в царствовании Иоанна I Великого, принца Генриха Навигатора, Афонсо V Африканского, Иоанна II Блистательного и Эммануэля Счастливого.

Изучая этот, наиболее яркий, период Португалии, он наткнулся на то, что заставило его глубоко задуматься и броситься с еще большей страстью в изучение материала, который давно перестал интересовать историков.

Прежде всего он кратко начертал для себя жизнь и деятельность Васка да Гама. Сведения о нем были весьма кратки, даже в португальских источниках. Родился в 1460 году, умер в 1524. Место рождения указано в Синес, в провинции Алентехо. Здесь профессор остановился, и задумался, устремившись сосредоточенным взором так далеко, словно хотел догнать эти ушедшие годы, чтобы проверить, правда ли это случилось в указанных местах, не ошибаются ли источники? Не было ли это сделано умышленно с целью укрепления за Португалией положения передовой страны в окрытиях и завоеваниях того периода?

В июле 1497 года экспедиция в составе четырех кораблей под командованием Васка да Гама отплыла из Лиссабона. Идя вдоль западного берега Африки, Васка да Гама обогнул мыс Доброй Надежды и после многих трудностей достиг Мозамбиг и Момбазу. После краткой

стоянки за островом Занзибар, он пересек Индийский Океан и высадился в порту Каликут, Индия.

В августе 1499, два с лишним года спустя, Васка да Гама вернулся в Лиссабон с экипажем в 55 человек из начального состава в 148.

Это открытие дало королю Эмануэлю Счастливому титул “Владыки Завоеваний, Навигации и Коммерции Эфиопии, Аравии, Персии и Индии”, подтвержденной вскоре папской буллой. Васка да Гама получил звание Адмирала Индийских морей и право подати от торговли с Индией.

Три года спустя волнения в Каликуте заставили его вернуться в Индию. После усмирения восстания, он проследовал выше, к стране Кошин, но вскорости вернулся домой. Последние годы, будучи в звании вице-короля Индии, он жил к Евроа, где и скончался.

То, на что случайно наткнулся профессор Кандыба при изучении периода великих открытий, было имя другого навигатора, которое заставило его крепко задуматься и сделать смелый вывод, от которого он пришел в смешанное чувство страха и дерзкого восторга. Это имя его и навело на путь, в верности которого он уже не сомневался больше.

Португальские источники того времени упоминают о неком навигаторе по имени Мартим Лопец. Незадолго до отплытия Васка да Гама вокруг мыса Доброй Надежды, Мартим Лопец был так же отправлен на поиски пути в Индию. Но вместо обычного курса на юг, Лопец отплыл на север, вдоль берега Франции и Голландии и

выше, вдоль берега Норвегии. Обогнув Мыс Нордкин (Северный) и плавая в еще неисследованных морях, Лопец открыл остров, которому дал название... “Новая Земля”, начертанное в португальской транскрипции на картах того времени как “Нова Зембла”.

Когда профессор Кандыба наткнулся на этот факт, он пришел в неописуемое волнение.

Он поднялся, сдвинув в сторону книги и записи и в подъеме необычайного воодушевления готов был обратиться к воображаемой аудитории, но так как ее не было, то мог обратиться только к самому себе:

— Не наводит ли это на глубокие размышления, которые можно развить в неоспоримый факт? Почему “португальский навигатор” берет курс на север, вместо обычного для того времени и Португалии курса на юг? Почему этот навигатор дает название открытому им острову “Нова Зембла”, а не подходящее названиее, вроде “Нова Терра”? Почему Мартим Лопец — и “Новая Земля”?

Он остановился, возбужденно водя глазами по сторонам, словно боясь, что что то ускользнет от него.

А не мог этот “португальский навигатор”, Мартим Лопец, быть русским, по имени, например, Мартын Хлопец!

Чтобы проверить себя, он прибег к теории со-звуковой перемены букв. Известно, что буква “н” переходит в “м”, как испанское “дон”, португальское “дом”; буква “х” обычно бывает или немым звуком, или переходит в “г”.

Киевские монахи, переводившие латынь и греческий язык на славянский, как правило, переводили “х” на “г” вследствие твердого произношения буквы.

Таким образом отважный русский авантюрист, Мартын Хлопец, в Португалии мог свободно стать Мартим Лопец. Кто же тогда на самом деле был этот “португальский навигатор”? Определенных материалов у профессора Кандыба еще не было, но он мог уже построить гипотезу. Как указывает его имя, Мартын Хлопец мог быть беглым польским холопом, попавшим в Новгород и оттуда, после или во время войны с Московским государством Ивана Калиты, совместно с одним, а вернее — с двумя ушкуйниками, бежавшим на юг, пробравшись в Средиземное Море и после поступившим на службу португальским королям в качестве мореправителя.

К числу трех, перекочевавших в Португалию в конце XV столетия, профессор Кандыба пришел на основании следующего открытия. История блестящих открытий золотого века Португалии указывает еще на одно имя, которое заставило профессора прислушаться к нему с особым вниманием.

“В 1513 году”, как говорят португальские источники, “Педро де Маскаренхас первым высадился на Иль де Бурбон или острове Реюнион...”

— Не зазвучит ли это имя, — спрашивал он себя, — так же на русский лад при маленькой фонетической поправке? Педро де Маскаренхас,

не Петро Москаленко ли это или Петр Макаренко, не так ли звучит настоящее имя другого “ португальского мореплавателя ” !

Через несколько дней он опять побывал в маленьком музее. Но какого же было его изумление и потрясение, когда в знакомой комнате он не нашел шкафа, в котором лежала книга. Он выглянул в коридор, думая, что ошибся комнатой, но так же, в конце ее, через высокое окно сквозил солнечный свет, который навел его туда впервые.

Его вдруг охватил страх, что ничего, кроме его собственной галлюцинации, не было. Кто бы поверил ему, что в числе вещей Васка да Гама, португальца, вице-короля Индии, была славянская церковная книга с предостерегающей надписью насчет кражи ! Кто бы поверил ему, если бы он даже и процитировал написанное на титульном листе ! Он пришел в необычайное волнение, боясь спросить самого себя, верно ли то, что он когда то видел таинственную книгу, придавленную пергаментным свертком и массивным компасом ?

В конце коридора промелькнула фигура сторожа. Профессор Кандыба кинулся на звук его шагов. Он ухватился за рукав сторожа и почти насильно втянул его в комнату, показывая на то место, где стоял шкаф с экспонатами великого навигатора. Путая иностранные слова, которые только могли прийти ему на ум, а больше полагаясь на движение своих рук, он добился того, что сторожа провели его в маленькую комнату, куда были сдвинуты шкафы и витрины

из музейных зал. Он бросился стремительно к одному из них, боясь, что не увидит знакомых предметов.

— Прошу панове, — настойчиво обратился он к сторожам, полагая, как это бывает часто, что его скорее поймут, если он заговорит на каком либо иностранном языке. — Трошкі кооперации.

Но никакой помощи ему не нужно было: книга лежала на месте, так же прикрытая другими предметами; ему достаточно было только взглянуть, чтобы узнать ее.

Он пытался расспросить, каким образом она могла попасть среди вещей Васка да Гама, но никто из сторожей не мог ни понять его, ни ответить. Они даже не придавали значения, и вряд ли знали, что книга была русская.

После некоторой настойчивости он добился, что ему открыли шкаф и позволили вытащить книгу на свет. Сделал он это с таким чувством благоговения, что немало удивило сторожей. Но ему было не до них.

Книга была церковная, Четы-Минеи. Профессора Кандыба интересовала, конечно, только первая страница, титульный лист. Тщательно, сохраняя в точности все знаки препинания, он записал конец старинного текста:

Сия Божия книга дому Преосвященнейшего Гавриила, епископа Псковского, поддъякона, а Славяно-Грамматического училища учителя и грамматиста Тимофея Ипатьева, собственная. А цена бо ей двести пенязей, сего дела подписал я, Тимофеий Ипатьев, собственной своею рукой во города во Пскове, в доме своем 1476 года, июля 7 дни, то есть в среду, в память святыи Мироносицы Марии Магдалины, в день тезоименитства

сожительницы своим и сим бо словом любезнейшим тако заключаю. Аминь.

После этого, уже не оставалось никаких сомнений, что Васка да Гама, как и Мартин Хлопец и Петро Москаленко, был русским.

Затем наступил один из самых интереснейших периодов его жизни. Он разработал смелую теорию, по которой Васка да Гама, Мартим Лопец и Петро де Маскаренхос были русские выходцы, осевшие в Португалии и там изменившие свои фамилии на португальские.

Своей оригинальной теорией он вскоре смог заинтересовать Советскую Академию Наук, которая отнеслась с понятным энтузиазмом к неожиданному случаю выправить исторический факт такого огромного значения. Вопрос сводился к тому, что нужно было точно установить личность Васка да Гама и, как было с двумя другими "португальскими" мореплавателями, выяснить его подлинное русское имя.

При помощи Академии удалось установить в архивах Пскова личность "учителя и грамматиста" Тимофея Ипатьева. Пока шли другие изыскания, связанные с личностью Васка да Гама, приват-доцент Кандыба продолжал разрабатывать свою гипотезу в стройную систему неопровергимого исторического открытия. Чем больше думал он о русском происхождении Васка да Гама, тем неразрывнее скреплялись звенья исторической цепи и убедительней становилась она в своей исторической правоте.

Васка да Гама родился в 1460 году, надпись же на книге помечена 1476 годом. Можно было,

следовательно, предположить, что книга была выкрадена вскорости после того, как грамматист Тимофей Ипатьев уплотил за нее двести пенязей, то есть, тогда, когда Васка да Гама было шестнадцать лет, возраст, не только когда выступают усы и борода, но уже вырабатывается характер человека и он выходит на историческую линию своей жизни.

Можно также было допустить, что несмотря на предостерегающую надпись, грозившую Страшным Судом, Васка да Гама украл эту книгу из Славяно-Грамматического Училища, где он был обречен проходить курс грамматики. Украл, но что? Церковную книгу. Четъи-Минеи. Чисто в русском характере: убил семью из восьми душ, оттер руку о полу, перекрестился и покаялся; одной рукой спалил сиротский дом, другой затеплил свечу в родном храме. Зная, что жизнь его будет полна художеств, он, убегая из родительского дома, прихватил церковную книгу своего грамматиста, зная, что в свое время придется принести покаяние ради спасения своей души.

Следующий факт приведенный приват-доцентом Кандыба оказал особое влияние на Академию Наук в принятии ею научной теории.

Во время своего второго путешествия в Индию на усмирение восстания в Каликуте, Васка да Гама с тщательностью и добросовестностью, присущими только русской натуре, в чистую ликвидировал местное население. Одно это обстоятельство должно было укрепить за русскими все права на притязания португальских колоний.

Зная еще в раннем возрасте, что в жизни могут произойти многие искушения, Васка да Гама запасся заранее книгой Жития Святых. Здесь можно было сделать еще и другое предположение: оставаясь в душе верным своей матери-родине, он, в противовес распространению католицизма, хотел насадить православие в завоеванных местах. Православия он, правда, не насадил, но по самому знаменательному факту отсутствия католицизма среди туземного населения Индии можно судить, что Васка да Гама приложил к этому свою руку.

В течение короткого времени путем живой переписки с Советской Академией Наук приват-доценту Кандыба удалось тщательно проследить тот небольшой, но значительный период жизни великого мореплавателя на его родине в Пскове. Точно была установлена личность шестнадцатилетнего юноши, бежавшего из грамматического училища в 1476 году. Недостающие звенья цепи были раскопаны в архивах и тщательно проверены вместе с другими фактами. Следуя авантюрным влечениям своего сердца, удержать которых было трудно в тесных рамках училища Тимофея Ипатьева, молодой грамматист бежал в Новгород, где, связавшись с ушкуйниками, в жажде приключений направился к Черному Морю, а из него — в Средиземное. Вначале к нему пристал беглых холоп по имени Мартын Хлопец, а на Украине они встретились с Петро Москаленко, и уже втроем перебрались на юг, на авантюрную службу португальских королей.

Эти факты были установлены сверх какого

бы то ни было сомнения. Все, что оставалось сделать, было определить его настоящее русское имя. Приставку "да" (французское "де") можно было легко объяснить: она могла быть дана ему в признание его подвигов и заслуг. С другой стороны, личное честолюбие могло заставить его придать эту частицу своему имени, подобно тому, как многие другие его сородичи пользовались этим несложным приемом для доказательства своего благородного происхождения. Трудность была в том, что имя Васка да Гама не поддавалось расшифровке, как это было с именами Мартима Лопец и Педро де Маскаренхас.

После установления подлинного русского имени великого навигатора, вторым шагом можно было бы начать кампанию претензий португальских колоний на основании открытия их русским исследователем. Не могло быть никаких сомнений, что благодарная Академия не преминула бы отметить заслуги приват-доцента Кандыба.

Все, что оставалось, только имя великого навигатора, каким его знали на родине. Его русское имя, или трагическое извещение, что оно было затеряно в веках.

Наконец настал день, когда профессор Канба получил телеграмму из Академии. Он еще не мог знать, что сулил ему этот день, когда он принял конверт из рук хозяина отеля. Он знал одно, будь это счастливейший день в его жизни или нет, но он привел его к концу исторических исследований.

В неудержимом волнении с телеграммой в

руках он подошел к окну, где лучи заходящего солнца за арками акведука долины Алкантар давали еще немного света. Ему стало необыкновенно грустно. Он вспомнил тот знаменательный день, приближающийся к сумеркам, и такой же рассеянный свет у дальнего окна музея. Там было начало изумительнейшего открытия, которому может быть суждено изменить ход истории и карты мира. Здесь, у окна комнаты дешевого отеля заканчивалась работа и связанные с ней надежды торжествующим успехом или трагическим провалом.

С еще большим волнением, уже граничащим с отчаянной решительностью, он рванул конверт телеграммы. Кровь, хлынувшая к голове, рвала барабанные перепонки гулом, подобным водопадному грохоту. Ему казалось, что в комнате не оставалось ни капли воздуха.

Еще одно мучительное усилие, и он, трагическим жестом вскинув к глазам пенсне, бросил взгляд на телеграмму. Его сердце почти остановилось от ликования.

На желтой наклеенной ленте было напечатано только два слова, одно имя — “Васька Хамов”.

Октябрь, 1943
Сан Франциско

В погоне за вишней

Две особенности в Японии составляют национальную гордость: гора Фуджи и цветение вишни, символ вечности, и символ временной, кратко проходящей красоты.

Преданность Фуджи — явление чисто традиционное, вросшееся в организм страны с незапамятных времен, и теперь поддерживаемая тысячами изображений, глядящих с крышек, ящичков, посуды, вееров, вывесок, со всего того, чем Япония наводнила весь мир, и что давно стало торговой маркой страны.

Но эта сомнительная слава не нанесла никакого ущерба самой горе, когда голубым или снежным силуэтом она выплывает над облаками, так что ее видно за сорок с лишним миль из высоких окон токийских контор. Или когда неожиданно всплывает она в небо огромной массой усеченного конуса, темная внизу, перерезанная по середине клубами облаков, сияя зарозовевшим снегом своей вершины, пока поезд огибает дугу у ее подножия. Ни один из поездных боев не пропустит, чтобы, скрыв национальную гордость, не заметить вскользь, что сейчас покажется

О-Фуджи-сан, прибавкой “о” выражая самую высокую степень своей почтительности. Но и при этом предупреждении нельзя не поразиться от неожиданного зрелища: оно внезапно захватывает дух и невольно от чувства преклонения, заполняешься сам японской гордостью, что временно принадлежишь такому величественному видению.

Второе — цветение вишень. Это повсеместно, и не только на ящичках. Срок цветения ограниченный, три-четыре дня. Что, казалось бы, ждать так много и готовиться к нежному опутыванию бело-розового цветения, которое в короткий срок опадет от дуновения ветра! Вишня, как дерево, красиво и так, даже оголенное, своим разветвленным стволом, цветом коры, сплетением красноватой чащи ветвей! Но цветение — традиционное увлечение японцев. Никто из них не пропустит, чтобы ни посидеть в парке и ни полюбоваться цветом вишни.

Вот за этой вишней, за ее цветением, в погоню я и бросился в один из ранних дней апреля. В Токио еще оставалось дней десять до цветения, но на Кюшю, южном острове, вишня должна была уже распуститься.

По правде сказать, вишня была только предлогом. Мне хотелось воспользоваться случаем и побывать в Нагасаки, где я жил некоторое время ровно тридцать лет тому назад. Я обманул бы себя, если бы не сказал, что это было не только погоня за вишней, сколько за юностью.

Все это нахлынуло сразу, хотя подготовливалось уже давно. Решение пришло внезапно в занятой час послеполуденного остатка дня. Мне вдруг вспомнились дни в Нагасаки, тихий отель на канале, внимательная прислуга, несколько русских, включая двух милых девушек, ласковый и деликатный турок, член миссии или консульства, ожидавший парохода, чтобы отвезти домой свою сумасшедшую мать... Дальше, за каналом, поднималась почти вертикально гора, на которой, за тенистыми деревьями, сквозили каменные и кирпичные дома старожил европейцев, где когда то, в восьмидесятых годах или еще раньше, был дом моей бабки, которая проводила здесь зимние месяца вдали от сырого Владивостока...

В этот занятой час мне вдруг страстно захотелось пройти еще раз по местам юности, по местам, с которыми было связано так много в детстве в нашем старом доме. Желание стало настолько страстным, что я знал, что не смогу отказать себе.

Это было после полудня, когда солнце перевалило за стену и сейчас заливало окна, выходящие на водяной ров и каменную стену Императорской Площади. Вдалеке, чуть видимым силуэтом, поднималась Фуджияма...

На другой утром я уже сидел в поезде, споря с собой, что дело не в цветении вишень, и не в поисках бабкиного дома, от которого, вероятно, ничего не осталось, а в неудержимом порыве, в поисках дуновения юности. Поездка в Нагасаки была поездкой домой, в юность, в

погоню за улетевшими тридцатью годами.

Вишня уже цвела в Атами, на полуострове Изу, в двух с лишним часах езды от Токио, в этом очаровательном месте японской Ривьеры. Дальше, по пути на север, к Киото, и опять южнее, к Осака, вишни еще были в голых сучьях.

Надвинулся вечер. Осака, Кобе, побережье Средиземного Японского моря, Хиросима, прошли в темноте. На рассвете развернулись широкие поля южного Хоншю, устремляясь к острию острова у Симоносеки.

Последние несколько часов, пока поезд бежал вдоль морского берега, уложенного камнем, уже на острове Кюшю, были в том ожидании, с которым свыкаешься и даже хочешь, чтобы оно протянулось дольше, чтобы то, что ожидаешь, могло бы стать еще более сладким.

За несколько миль до Нагасаки, у последней станции Ураками, поезд вбежал в выжженное и обугленное место, в груду скрученного железа, ферм фабричных зданий, сплющенных котлов, изуродованных машин. Только здесь, при виде этого титанического разрушения, познаешь, какая ужасная сила разразилась над несчастным местом!

Об атомной бомбе в Нагасаки почти не говорят. Когда упоминают бомбу, всегда связывают ее с Хиросима. Это, конечно, оттого, что в Хиросима была первая; кроме того, бомба в Нагасаки разорвалась не над самым городом, а в восьми-десяти милях, на станции Ураками.

Первое, что мы увидели в Нагасаки, выйдя с вокзала группой русских тридцать лет тому назад, была тревога с шаткой каланчи, на которую выбежали в узких штанах и распахнутых кофтах пожарные, впряженные в миниатюрные ручные насосы на маленьких тележках, неся на себе лестницы и крючки, и быстро побежали, обгоняя рикш, вверх по улице.

Мне припомнилась эта картина теперь, пока я пробирался сквозь толпу на вокзале: я хотел, чтобы снова показалась старая площадь вокзала, цветная толпа, яркое небо, флаги, дым пароходных труб в порту, и над всем этим звон, гул, грохот, крики шумного портового города.

Но как я ни напрягал свою память, я не мог узнать площади! Многое, конечно, изменилось за тридцать лет, но главная перемена произошла 12 августа, в день, когда разрывом атомной бомбы были сметены вокзал и все прилегающие к площади здания.

Новое здание вокзала еще не было закончено. Площадь была разворочена, перерыта канавами для труб, оголена трамвайныму шпалами, завалена камнями, гравелем, песком.

Я не ждал многого, но никак не думал, что Нагасаки произведет такое удручающее впечатление! За пять с лишним лет со дня окончания войны почти все разрушенные налетами японские города успели отстроиться, а некоторые из них почти совершенно сгладили следы войны. Нагасаки еще оставался таким, каким я застал Токио и Иокогама год спустя окончания войны, в августе 1946 года.

Этому могло быть только два объяснения; еще задолго до войны Нагасаки потерял значение торгового порта; и, конечно, та же атомная бомба. Нагасаки в прошлом был тесно связан с Россией. В его порту была одно время зимняя стоянка русского флота. Русские моряки впервые показали двигающиеся картины в тот период, когда они только начали переходить из неподвижности волшебного фонаря в динамический мир кинематографа.

Теперь Нагасаки был побитым городом, придавленным своим еще неизжитым несчастьем. Рассматривая в ожидании такси карту города на вокзале, я хотел наметить знакомый путь. Карта была испещрена белыми квадратами с надписью "задетые места". Позже я увидел, что они не столь были задеты, сколь пусты, выгорелые квадраты, на которых кое где был навален строительный материал. Эти места, затронутые атомной бомбой, были повсюду в городе. Позже, на горе над Нагасаки, я видел огромные каменные глыбы свинутые с места, что могла сделать только титаническая сила бомбы.

На карте место разрыва было указано только тремя словами "Центр атомной бомбы". Гораздо пространнее были объяснены другие места, как, например, то, где когда то, столетия назад, были умерщвлены 29 мучеников христиан. Девять тысяч из одинадцати тысяч японцев-христиан, живших вблизи Ураками, погибло во время взрыва смертью неменее мученической, но 29 мучеников носили исторический характер, и место их гибели — монумент прошлого. Для

атомной бомбы было еще рано создавать памятник, все в Нагасаки и вокруг еще говорило о ней как о чем то непоправимом, что случилось вчера, и от чего еще нельзя опомниться ни сегодня, ни завтра...

Город был неузнаваем! Я все не мог отдать себе отчета, что прошли эти тридцать лет, что много воды утекло с тех пор. С трудом, после долгих блужданий и поисков, я нашел то место, где должен был стоять Каидо Отель. Я определил место по каналу, который показался мелким и невероятно грязным, но здания я так и не мог найти, оно было деревянное, и могло или сгореть или прийти в негодность от старости.

Вот, кажется, этот мост... Вот здесь, вдоль канала, как то в один день в лихорадочном возбуждении бегали вверх и вниз два японских жандарма, приставленные для присмотра к моему приятелю и ко мне. Воспользовавшись, что они ушли играть на биллиарде, предварительно уверившись, что мы были в отеле, у себя на верху, мы перебежали мост и скрылись в чайной русского еврея, наблюдая, как вскорости забегали перепуганные нашим исчезновением жандармы.

Не было и этого дома, который, как помнится, был каменный. Изменился весь район. В то время здесь были конторы, отели, рестораны. Теперь же, под натиском времени, на смену им появились гаражи, склады дров и железного лома.

От устья канала шла гранитная набережная. Мы часто ходили по ней, поднимаясь в гору в

обход ее. Внизу сверкало море, весь порт был как на ладони, видны были противоположные берега, где были правительственные судостроительные верфи. Мы садились на гранитный барьер и смотрели на порт, горы за ним, на заходящее солнце. Два месяца до этого мы покинули родину, которая была там, за заходящим солнцем, и у нас было многое о чем поговорить и о чем погрустить в такой час. Мы поднимались, и шли дальше, но могли дойти только до определенного места, так как те же два жандарма, переодетые в частное платье, но в высоких желтых сапогах, останавливали нас и заставляли поворачивать назад...

А над городом растялся легкий весенний день. Высоко на горе, там, где когда то был дом бабки, клубились белым парением вишни, они дня два как распустились и теперь были в самом очаровании своего прекрасного убора. Внизы город напоминал старый Нагасаки. Сероголубой день растялся над ним. Далеко, с той стороны бухты, доносился легкий грохот с верфи. Вдали, уходя в открытое море, разворачивались горы, скрываясь в сверкающем серебре моря...

Я хотел посетить русское кладбище на горе, побродить между плит, разобрать старые надписи, но вход к нему был завален камнями. Чтобы пройти к нему с другой стороны, я спустился вниз, к международному кладбищу. При моем появлении торопливо выбежал навстречу старик-сторож, давно не видевший иностранца и радостно кинувшийся на протянутые

сто иен, сумму, на которую я когда то жил два с лишним месяца в Нагасаки. Кладбище, как и город, было в запущении, на плитах и памятниках сушилось тряпье старика, рваные одеяла...

О многом невольно думается в таком тихом, забвенном месте. Верно ли, что сеется в тлении, восстает в нетлении? Верно ли, что память вечна, что горе незабываемо и безутешно? Как долго живет слава? Нужен ли мир и покой там, где все уже окончено?

Вот под этой плитой лежат останки уже ничего не имеющие общего с надписью:

Le Celebre Tenor

Agostino Pagnani

Ne in Pezaro, Italie

Mort le 15 X'bre, 1884

Priez pour lui

Но что мне до знаменитого тенора, до того, что живет после него! В ту минуту я мог думать только о себе, о своей невозвратимой потере, которая касалась меня одного и о которой я хотел сказать с грустью и болью, — мир и тебе, моя улетевшая юность!

На утро третьего дня я высунул из окна отеля голову и глубоко втянул свежий воздух пахнувший морем и каменноугольным дымом. Я знал, что это был мой последний день в Нагасаки.

Небо было серое, накрапывал теплый дождь. Как печально выезжать из города, гремя колесами такси по камням еще пустынных улиц, вдоль каналов, серых от зарябившейся под дождем воды, мимо только что распустившихся серой зеленью плакучих ив, мокрых стен домов,

вглядываясь и словно узнавая в морщинах старости то, что порождало любовь в юности !

На следующий день, проехав поперек всего острова, в одном из прибрежных городов я навестил русскую семью старожил. Мне хотелось навестить русских, живущих в Нагасаки, которых осталось всего около десяти человек, но я так и не собрался к ним.

К этой семье у меня было письмо из Америки, кроме этого, мне хотелось разговориться с кем либо, спросить их о жизни, делах, годах войны, о том, как живут теперь, почти одни в чужом городе.

Полосанов, хозяин дома, словно ждал меня. Он сидел в черном костюме, который когда то был смокингом, засаленном и затыканном булавками и иголками с нитками, раскачивал тяжелой деревянной ступней и смотрел вдаль с тем отсутствующим, словно приглядывающимся к призракам видом, по которому позже я мог судить об его тронутости. Он говорил ровным, настравивающим на сон голосом, не давая себя перебить, и вглядываясь подозрительно в те моменты, когда переводил дух, чтобы никто не успел вступить в разговор.

Полосанов говорил обо всем. Видно было, что мысли теснили его, двигались в его голове, но так же коротко и тяжело, как тот обрубок ноги, которым он раскачивал.

Сперва он пожурил за то, что американцы делают ошибки, и что некому их научить, так

как у него самого свое дело, нанимает семерых портных, сбивается положительно с ног, и не хватает рук, даже если бы у него было их с полдюжины.

С американцев он перешел на англичан, чтобы показать, что первым еще далеко до вторых в смысле ошибок. Оказалось, что основное и главное зло шло — и еще идет — от Ллойд Джорджа, и что все остальные были только его слабыми учениками. К этому времени он уже значительно распался, стал бледным и еще более устремленным, пот крупными каплями выступил на его высоком бледном лбу ; тревожа бренные останки маститого политика, он путал его нещадным образом с Черчилем.

Голос его продолжал быть таким же ровным и невыразительным, словно он говорил так, спустя, кое о чем, а не о том, что не переставало бесспокоить его бедную голову. Только пот на лбу и редкие красные пятна на бледно-желтом лице выдавали его волнение.

В это время его пухлая, на смерть напуганная жена принесла обед. Полосанов из бокового положения у стола, только повернул голову и плечи, не меняя позы и не переставая раскручивать тяжелым копытом ноги.

— Американцы перед тем как обедать, всегда пьют воду, — заметил он, как человек отлично посвященный в таинственные стороны жизни.

Его жене было не до еды. Впервые за много лет за их столом сидел новый человек, приехавший из других мест, и она рвалась пораспросить его, послушать, поговорить. Было у ней много

своего, о чём ей хотелось поделиться, что давно, ~~её~~ все эти годы одиночества, накопилось в ней, а то, что говорил Полосанов, она слышала изо дня в день.

— Одну таксу плотим тыщу ен в день, — только раз удалось ей вставить в редкий момент, когда Полосанов переводил дух, и она от своих слов растерянно заплакала.

— Про советскую власть я скажу просто и коротко, чтобы было понятно всем, — нес дальше Полосанов, ни то с усмешкой, ни то с печальной улыбкой, как бы извиняя себя и отделяя особой странностью от других, включая его гостя, — возненавидел с первого же дня, как пришла она, хотя ни самую власть, ни ее людей не видел. А возненавидел так, что даже тясусь, вспомнив. Все жду, вот-вот распадется на составные части.

Он опять повернулся боком к столу, слегка ковыряя вилкой в котлете, покачивая мирно уже другой ногой, на которую верхом взобрался шустрый Андрюшка.

— Я переловил бы их всех саморучно, сколько бы их ни было, — он наклонился вперед, и его глаза приняли выражение того страстного и неудержимого желания, которое бывает только у детей или тихопомешанных, — не ждал бы даже ни дня, ни часа, а немедленно...

Он остановился, словно другая мысль заставила его изменить ход устремленного мышления.

— Конечно, занятость, то за нитками съездить на велосипеде, то еще что достать, семеро портных, опять же новый закройщик, а то бы

дня ни ждал...

В это время снизу раздался голос одного из приказчиков. Полосанов отвел печальные глаза и нехотя отозвался, — чего это?

Он стряхнул Андрюшку и ушел вниз. Жена провела его взглядом, пока голова Полосанова не скрылась на лестнице. Она тревожно пошевельнулась на стуле. Ее глаза вдруг заполнились слезами.

— Таксу одну плотим тыщу иен каждый день!, — сказала она, но чувствовалось, что ей хотелось сказать о другом, но что она не могла бы разговориться без этого знакомого вступления.

— Первоначально я сиделкой в больнице служила, в Китае, на Международной, в общей палате, а потом, после экзаменов, перевели в изоляционную, к этим, которые... Все по английски, и спрашивать и отвечать, язык трудный, говорить то я говорю, лучше его, — она кинула головой в сторону лестницы, — а произношением по сих пор затрудняюсь, да теперь то это и не к чему, так, к слову, что экзамены трудные, не осилить, как не учи! Из общей меня и перевели... А тут мама мучается, без ног, сырость, везти надо на серные, знакомые сказывали, что страсть как помогают, некоторые болезни в чистую, как рукой снимают. А еще сказывали, что живет там один, холостой, за невестой скучает, прокатитесь, говорят, на всякий случай, авось счастье свое найдете, опять же маму на серных полечите! Как советывали, так и вышло. Встретились, сразу стал же до-

биваться, вижу не врали, правда, скучает... А тут мама, перемена климата или что, а уж не только серные, а хоть консилиум созывай...

Она задумалась и опустила голову, не стараясь даже скрыть слез. Действительно, на самом деле, лучше было бы остаться в изоляционной, с буйно помешанными, приняв провал на экзамене за лучшую судьбу, нежели жить бок-о-бок безвыходно с тихопомешанным мужем!

Она подняла голову, прислушиваясь к тому, что делалось внизу.

— Сколько уже лет! Скучно и тошно, слов нет, не высказаться! Уж лучше был бы, что ли, все же лучше, чем так, каждый день...

Я заторопился рас прощаться. Скоро должен был уйти мой пароход и я чувствовал, что не могу дождаться того часа.

Отплывая от берега, я думал о том, что встрепенуло меня неделю тому назад рвануться так неудержимо за цветением вишни, в погоню за юностью, в тот мир, который теперь мне казался еще более заманчивым, радостным и по своему печальным, в мир чистый и свободный, еще не придавленный тяжелой ступней Полосанова.

Апрель, 1951
Японское Средиземное Море

Не узнаете

— Не узнаете? Правда? А, ведь, встречались и дружили, сколько дней и ночей проводили вместе! Неужели не узнаете? Да что вы? А я вас сразу узнал, ну, как же! Как только приметил еще издалека, сразу же сказал себе: а, ведь, я его отличнейшим образом помню и знаю хорошо... Жаль, что не помните, правда, жаль... Позвольте, напомню. Нам тогда всем было лет по двенадцать-четырнадцать, и впервые мы встретились на реке... Да, да, на реке... Вот, на какой, не помню, забыл! Пожалуй, даже сразу на многих, если вам это не покажется странным! Да, впервые это было... Позвольте мне сперва назвать себя: Том Соуэр мое имя, Том Соуэр из города Ганнибал, с берега Мизури. Мой дальний родственник, некто по имени Марк Твэйн, что то порасказал обо мне, ну и вот... Хотя наше знакомство состоялось не потому, что кто то что то рассказал кому то. Нет, совсем не потому. Об этом даже и говорить нечего, а тем более припомнить, что наше знакомство и дружба состоялись прежде всего потому, что у нас было общее сердце и одно

дыхание... Нам тогда было, как помню, лет по двенадцать — пятнадцать, и мы были сорванцами в том смысле, как это понимали старшие. Дело, конечно, не в этом, а в том, что мы так были дружны... Помните первый вечер нашего знакомства, припомнить только где это было, у вас ли, на Волге, Днепре, Енисее или на Амуре, или у нас, на Мизури или Миссисипи! Да это и не так важно, где! Важен сам первый вечер нашего знакомства, и потом время тесной дружбы... Как еще свеж в памяти вечер жаркого июля на берегу реки или на острове, запах дыма, чтобы отогнать комаров, треск и искры костра, горячая зола, в которой зажаривался завернутый в газету лещ! Как ярко мерцали звезды над тихой и черной водой! А лещи как клевали, так и шли на наживу! Как прохладно было в воде, когда мы плыли к плотам, чтобы послушать рассказы плотовщиков, а при случае и съянуть хлеба, если он лежал без особого надзора! Припоминаете, а?! Да, позвольте, мой приятель, вы его тоже должны помнить: Хекельберри Финн. Ну, я рад, теперь все пришло вам на память. Я как то сомневался, что вы не вспомнили сразу! Дело, конечно, не в этом, время то ушло, но что то ценное должно было остаться... Что было тогда замечательно: у нас всех было одно и тоже, верней, ничего не было, мы были все босы, в одной паре рваных штанов, чтобы скорей сорвать перед купанием! У нас ничего не было тогда, о чем мы могли бы жалеть, если бы и потеряли что либо... То, что было у нас тогда, казалось нам самим, что мы

никогда не потеряем — нашу дружбу, привязанность... Или знали, поэтому, вероятно, и вышло так. Ах, нет не так, тогда мы не знали, даже и мысли не было, самой даже отдаленнейшей... Но, позвольте, пока об этом не говорить, мы еще коснемся этого — ведь, надо обо всем поговорить. Давайте сперва о радостном!... Да, так, где я был? О, да, на плотах! Прохладная вода, вдали дым нашего костра. Плыть надо было довольно далеко, но мы все в смысле плаванья были одинаковы, сколько же времени проводили за лето на реке! Помните, как приплыв к плотам, мы подслушивали рассказы плотовщиков, помните этот рассказ, как в смоленой бочке за одним из плотовщиков в течение трех лет плыл брошенный им ребенок, имя которого было Чарльз Вильям Олбрайт. И когда плотовщики поймали одного из нас, приволокли к костру на плоту и спросили его имя, он с перепугу ответил: Чарльз Вильям Олбрайт! Сколько же было ржанья от смеха в ту ночь! А потом, опять у себя на острове, у костра, мы сами рассказывали друг другу истории о всякой дьявольщине, пока не стало жутко взглянуть даже на ближайшие кусты, так как за ними мерещились привидения и мертвецы!...

— Я рад, что вы теперь припомнили все это. Да, и как же можно было забыть то время, лучшее в нашей жизни! Другое время по своему тоже было не плохим, хотя, конечно, далеко до тех дней! Почему же случилось так, что у нас со временем вместо того одного сердца появилось два! Еще бы ничего, что два, если по

прежнему дружные! А то, что сейчас, как нам оправдать друг другу эту необъяснимую враждебность? Ведь, еще не так давно мы опять были вместе, верней заняты одним и тем же делом, тяжелым и суровым: вы со своими приятелями в Красной Армии, Хекельберри Финн, я, и другие, в своей, в американской. И работали вместе, в согласии, дружно, делая общее дело... Что же произошло, что теперь мы так далеки и — грустно сказать — так враждебны! Почему? Почему так насторожились друг против друга и прилегли, один у своей реки, другой у своей, чуть ли ни с винтовкой в руках, зорко взглядываясь в друг друга в каком то уничижительном подчинении чей то низкой воле! После того, как у нас было одно и то же детство, одни и те же приключения, одно и то же сердце! Помнится мне, что тогда вы меня, Тома Соуэра, не считали за американца, да и Хеккельберри Финн был таким же как и вы сами. Мы были сорванцами, искателями приключений и это ставило нас всех вместе выше наций, географии и всего того, что в данный момент разделяет нас так трагически на два враждебных лагеря!... Может быть, выправим это ошибку, вытравим вместе чью то злую волю, которая парализовала наши сердца. Поставим крест на то, что не наше общее, что не касается нашей простой, обыденной жизни, и встретимся опять на какой нибудь реке у того же костра... Ах, как свежо в памяти то время, как свеж еще вечер знойного июля, запах дыма, искры под темным таинственным небом! Как радостно было знать, даже

не думая об этом этом, что у нас тогда **всех** было одно сердце и одно дыхание!...

— Об этом стоит нам крепко подумать, чтобы не предать тех радостных дней нашего детства и юности, нашей крепкой дружбы... Главное, чтобы не подчиниться той темной воле, которая хочет вытравить дружбу, преданность, беззаботную вольность, и вселить вместо этого ненависть, вражду, насилие, раздор... Нам с вами этого не нужно, нам обоим надо уберечься от злой и преступной воли, нам нечего делить, **кроме** воспоминаний о том счастливом и беззаботном времени, когда, по истине, у нас было одно сердце и одно дыхание... Ах, как еще свеж в памяти жаркий вечер июля, дым костра, таинственный небесный свод, усеянный звездами, ровный шопот воды за темными кустами берега... Как было замечательно то чувство юношеской спайки, которая, например, не отделяла меня, Тома Соуэра, американца, от всех остальных, а, наоборот, делала всех нас одной сплошной массой юношества!... Еще не поздно, у нас еще есть время сблизиться опять и даже стать такой же сплоченной массой верного, хорошего, отзывчивого человечества! Руку, да? Ну, так, слава Богу!

Июль, 1951
Нагоя, Япония

Возвращение к первой любви

Это пришло сразу, с первого момента посадки в Тэгу. Весь путь было холодно и мы, как только спустились, сразу же бросились в поиски за горячим кофе. Но вскорости какая то сила заставила меня опять выйти на ветренный аэродром, и я вновь почувствовал всю остроту, всю неотразимую мощь, с какой нахлынуло на меня это начальное чувство, сбив, смутив и поставив лицом к лицу с тем, чему я еще не мог придать названия.

Проявилось это цепью окружающих гор. За высокой грядой заходило солнце и свет разливался по другим грядам с меняющейся градацией закатных красок. Там, где лучи выступали за грядой и падали на высокую вершину, они были нежно-розового цвета; влево от них, уже в тени надвигающегося вечера, противоположный кряж был залит изумительным цветом бургундского вина, от темного оттенка у вершины, до светлого внизу, на который уже надвигался туман долины.

Казалось, что все, что было на аэродроме,

поворачивало головы от одного кряжа к другому, обведя подкову гор: механики, проверяющие моторы, рабочие корейцы, даже аэропланы, включая С-54, на котором мы только что прилетели из Японии. Казалось, что никто не мог оставаться равнодушным к этим краскам на-двигающегося вечера... Я повернулся, чтобы обвести глазами вокруг. Но все было молчаливо и пустынно, и только я был один, лицом к лицу с тем, чему я еще не мог придать названия, но что двумя днями позже, лежа на граните горы Юнансан, высоко над Сеулом, я определил, как возвращение к первой любви...

Около семи вечера мы приблизились к Кимпо, аэродрому Сеула. Было темно и только редкие огни горели там, где можно было по памяти распознать предместья города, включая Янгдонг-по, и сам Сеул.

Аэроплан долго кружил над аэродромом, осторожно нащупывая сквозь густоту тьмы дорожку для посадки. Не так далеко, всего в 16-18 милях к северу, вспыхивают огни коротких зарев: там фронт, война, которой весь мир тщательно избегает дать законное определение настоящей войны.

Внизу, под сидениями, раздался звук освобождаемых колес. Еще один снижающийся оборот над полем. Сейчас, обозначаясь по огням внизу, можно было видеть, как сильно накренился аэроплан, выправляясь для посадки. Вспыхнувшие огни фар осветили низко лежавшую дорожку,

устланную сетками металлических плит, временем уравнявших воронки бомб и артиллерийских снарядов. Замедляя бег на дорожке, аэроплан время от времени обводил огнями по краям, и тогда из темноты внезапно всплывали стволы зенитных орудий, прислуга, шлемы на их головах.

Ночь была холодная и темная под небом густо усеянным яркими звездами, где, окружив себя сверкающим облаком зарева, горела Венера ярким светом такой необыкновенной напряженности, что ее можно было принять за тысячу-ватовую электрическую лампу, вздернутую высоко на шесте.

На открытом грузовике мы выехали с аэродрома. В поле, на темной дороге небо показалась еще более ярким, словно холодный ветер сдул все, что мешало зрению между землей и небом.

Приближаясь к предместью Янгдонгпо, грузовик загасил огни и стал приближаться в сплошной темноте к берегам реки Хан. Уже въехав в город, почти у самого вокзала, грузовик опять включил огни фар.

Город казался холодным, пустынным, вымершим. Из темноты поднимались стены, верней, остатки стен зданий; казалось, что затихший город таил в себе могильную тишину, чтобы не смутить, не придавить сразу неотвратимой тяжестью своего разрушения. На пути поднимались знакомые здания, углы города, широкое авеню, ведущее к зданию Капитолии, затем дорога к зданиям... где были размещены части

Американских Воздушных Сил, к которым я принадлежал.

Здесь, за каменными стенами... шла почти мирная жизнь, такая, как идет и сейчас в военных учреждениях в Токио, Иокогама и других японских городов еще находящихся под оккупационной властью. Фронт был дальше, в 30-40 милях.

С полночь я боролся с ознобом, хотя всю ночь гремели перегретые трубы парового отопления, мучаясь жаждой, которую в конце концов не мог преодолеть. Ощупью я вышел в коридор, в непроницаемую тьму, водя рукой по стене в поисках двери. Я помнил, что подъезжая на грузовике к зданию Штаба, я видел в стороне от входа бак с питьевой водой.

Ночь казалась еще более холодной, когда я наконец пробрался под изумительное сверканье звездного неба. Было вероятно три часа. Луна в значительном ущербе, но еще полная света, подошла и теперь висела прямо под Венерой, обе сверкающие и таинственные в этот молчаливо-загадочный час ночи, почти одинаковые в ослепительности своего сияния. Темные здания сливались с такой же темной массой зелени, и только стройные пирамидальные кипарисы поднимались высоко над крышами, как темные свечи под ярким небом, и я долго не мог оторваться от них глазами, зачарованно думая о том, что захватило меня так мощно на аэродроме Тэгу, и что я только потом назвал возвращением к моей первой любви..

На утро я заторопился выйти пешком в город, к местам, которые были мне больше чем знакомы за трехлетнее пребывание в Сеуле. Я припоминал то время, когда он впервые встретил нас, только что прибывших из Сан Франциско на аэродром Кимпо в пыльный день знойного августа, ровно год спустя окончания войны с Японией; с каким примирением и даже без участием к своей судьбе мы ехали в собачьем ящике, приколоченным к платформе грузовика, который назывался автобусом. Влажное от зноя и пота платье покрывалось толстым слоем твердой пыли, так что вечером его можно было ставить как прочные железные латы. На обед нас привезли и сбросили у гостиницы Тонг-Ва, "Великий Восток", но как и автобус, название было больше чем преувеличено. Пока мы ждали очереди, сидя на ступенях в тяжелом зное дня, один из приехавших раньше и уже казавшийся нам старожилом, показал на кучу навоза и мусора, на котором вторые сутки валялся труп корейца. Чума, унесшая в тот год десятки тысяч корейцев, еще уносила свои последние жертвы. Вскорости после этого нас позвали обедать. Скатерть была в ржавых пятнах, бой кореец принес ржавую железную тарелку, ржавый нож и вилку и такой же казавшийся ржавый кусок мяса, и мы все думали о трупе корейца на мусоре под знойным небом.

На следующее утро мы шли к месту новой службы вдоль зловонного канала, который нес в себе все, что полагается нести каналу на Востоке, и в воде которого корейские женщины

стирали белье. Что то знакомое, похожее на рубашку, купленную накануне в Сан Франциско, мелькнуло в руках прачки, под неистовыми ударами ее палки. Мы знали, что много испытаний еще впереди, что ко многому нужно будет привыкнуть, со многим сжиться !

И мы сжились, примирившись легко со многими лишениями, отсутствием электричества и воды, хотя ощущение намыленного тела под пустым краном душа продолжало всегда действовать с удручающей неожиданностью.

За время нашего пребывания произошло много перемен. Город изменился к лучшему, стал чище и наряднее, жизнь упрочилась, население стало выглядеть упитанным, лучше одетым. Почти не осталось следов разрушений, причиненных не войной, а самим населением в знак ликования по поводу неожиданного освобождения от японского владычества ; появились стекла в окнах домов и трамваях, были вновь поставлены вывороченные телеграфные столбы, протянута проволока, магазинные витрины стали постепенно заполняться товаром.

Таким он был в последний год моей службы там, когда я опять вернулся в Америку в декабре 1948 года. Я еще не знал, каким увижу его три года спустя, в это раннее декабрьское утро, пока я еще шел по улицам, которые избежали разрушения войны.

Я расспрашивал многих побывавших в Сеуле после того, как он был вновь отбит от частей коммунистического Китая и Северной Кореи. Обычное в описание очевидцев преувеличение

я сбрасывал с весов, относя его к неизбежной мере прикраски. Но то, что я увидел в то утро и весь тот первый день, наполнило меня тем, что я мог сравнить только с тягостным сознанием непримиримости собственной потери. Я чувствовал, что с каждым шагом тяжелело мое сердце.

Из нескольких тысяч американцев я был чуть ли ни единственным, который хорошо знал Сеул, бродя по его улицам в различные часы дня и ночи в поисках материала. В это утро я обходил знакомые места, стараясь воскресить в память то, что было связано с ними. Вот здесь, мимо Малых Восточных Ворот шла дорога в Говернмент Дженерал Апартмент, где была моя квартира. Иногда бывало это в светлые ночи, когда луна играла на карнизе грациозно выгнутой линии китайской крыши ворот. Осенью вдоль стены горели золотистым пламенем листья гinkовых деревьев. С тяжелым сердцем я стоял в то утро перед Воротами, верхняя часть которых была снесена артиллерийским огнем, и от шестисотлетнего сооружения которых осталась только нижняя каменная кладка с тремя арочными входами... Там, на горе, из окна моей комнаты можно было следить, как медленно заходило солнце за верблюдообразным хребтом Юнансана, и как долгие сумерки надвигались над тысячелетним Сеулом, над великолепием его многовековых дворцов и ворот... Здесь вела тропа к дворцовому парку Куанг-Бок, в обход главного входа через Малые Северные Ворота, мимо Лотосового Павильона к моему тихому

оффису в одноэтажном здании Бюро, рядом с главным зданием Капитолии... Вот хорошо знакомая дорога в сторону Великих Северных Ворот, мимо кварталов японских домов с бумажными рамами, балконами, черепицами, дальше, за самими Воротами, к захватывающей дух панораме величественных гор... Тишина висела над этой частью города, хотя заметных следов войны здесь и не было видно. Дома были разбиты и разворованы, двери и окна вырваны при грабеже самим же населением города. В это утро улицы были пустынны и тихи, даже не было видно детей, без которых Восток не Восток. Часть населения, жившего в этих домах, было угнано на север при отступлении коммунистических войск.

Я обошел несколькими кварталами выше, поднялся к остаткам городских стен, идущих по хребту Юнансана, чтобы посмотреть на другую часть города за Пекинской Дорогой, и на уродливую пародию римской триумфальной арки, которую воздвигли японцы в первые годы своего владычества, снеся некогда стоявшие там Великие Западные Ворота. Вблизи Арки стояли массивные корпуса Сеульской тюрьмы, о которой я узнал больше уже в Японии двумя годами позже, работая над историей суда над военными преступниками войны, над фазой зверств, учиненных над американскими и английскими военнопленными. Весь район, прилегающий к тюрьме, был подвержен интенсивному воздушному и артиллерийскому огню, и теперь все что осталось, было уложено в аккуратные кучи кир-

пича и камней.

Дорога вниз в направление к центру города все еще была опутана проволочными заграждениями, куски рельс торчали из земли с наваленными грудами камней для противотанковой защиты. Оборванные провода висели с телеграфных столбов, случайно уцелевшие кое где дома были выщерблены пулеметным огнем.

В том месте, где православная миссия владела куском земли с большой полукорейской фанзой, в которой жило несколько русских семей, и где два ветхих русских старика, страдавших попеременно то чесоткой, то экземой, приготавливали вручную косметические изделия марки "Москва", все было настолько сравнено с землей, что даже трудно было опознать, как мы когда то пробирались туда.

Дальше, внизу холма, по ту сторону трамвайной линии, вблизи русской церкви, было безлюдно. Несколько соседних домов, и напротив через узкую улицу, было сметено огнем. Стены и ворота Русской Миссии были осыпаны пулеметными оспинами, но снаружи церковь и главный дом Миссии казались нетронутыми. Внутри же все было выворочено, засыпано обвалившейся штукатуркой, оконным стеклом, щепами выломанных рам и дверей.

В течение многих лет здесь жило несколько русских христианских семей, коротавших время от скуки и скученности расжиганием взаимной ненависти. По тенистым тропинкам сада прогуливавшийся молодой священник, строптивый и горделивый человек в монашеском облачении, не-

плохой в сущности человек, но замкнувшийся и одичалый от одиночества и пережитого страха во время войны. Своей гордостью и рядом своевольных поступков он настроил против себя горсть русских старожил и несколько православных корейцев, старавшихся поставить своего священника, но жизнь его сгубили две женщины. Одна из них была его собственная мать, хищное и раздраженное, как злое насекомое, существо ; другая, годами чуть моложе его матери, придавила его не столь девятью пудами своего веса, сколь непомерной тяжестью запоздалой осенней любви. Здесь пробирался всегда насупленно-озабоченный темноголовый человек, неся связки случайно подобранных вещей для сбыта на корейском толчке, из того типа людей, которые с одинаковым усердием и рвением служат ею всех контр-разведках, до которых только могут добраться, а в перерывах между официальной службы или во время очередной проверки "на политическую верность" "стучат" без разбора налево и направо. Здесь жили две женщины, обе болезненные в повышенном чувстве своего самовнушенного превосходства. Одна, откусывавшая своему младенцу ногти на руках и ногах из за суеверного страха, что он умрет, если будет пользоваться ножницами, и верившая, что если младенец умрет от оспы, он будет на том свете носить золотые ризы, бредила о вензелях и короне на золотой посуде и серебре и упоминала об отце, спившимся в нищете дьячке, что "мой пapa известный дворянин". Другая, дочь случайно попавшего в Сибирь и там

на всю жизнь застрявшего шотландца-телеграфиста, в припадочном величии своей мании говорила темноголовому человеку, сумрачно связывавшему в кучу подобранные журналы и газеты, "не забывай, что я урожденная Горн".

Сейчас здесь было пустынно, дорожки заросли сорной травой, и только в столетнем саду, некогда так тщательно оберегаемом, скрипела пила двух корейцев, которые, примостившись на сваях, перепиливали аршинный ствол живого дерева.

Я снова вышел к главной части города, со стороны Дворца Даксу, вблизи Городского Холла. Эти места были больше чем знакомы. В европейском, "мало-Версальском" дворце все лето и часть осени 1947 года заседала незадачливая Совето-Американская Комиссия по устройству Кореи, в американской делегации которой я состоял. Вблизи, в узком переулке, сразу же за величественным зданием Отель Банто, словно отделимом стенами древнего китайского города, жила русско-корейская семья. Все они, включая их отцов и дедов, родились, выросли, учились на русском Дальнем Востоке и почти совершенно не знали корейского языка. Они были выкорчеваны из привычной почвы и переброшены в страну, которая оказалась им чуждой и даже враждебной. Глава семьи, старый революционный деятель, всю жизнь лелеявший мысль об освобожденной Корее, знаяший Ленина и других революционных деятелей еще задолго до революции в России, был схвачен коммунистами и увезен на север.

Вокруг Великих Южных Ворот все было сметено артиллерийским огнем и танковым боем. Грибоподобные крыши бетонных входов над подземными переходами лежали поваленными на земле ; от трехъэтажных зданий, некогда контор американского военного правительства, стояли только выгоревшие скелеты, смотревшие пустыми глазами окон на запоздалую и ненужную вывеску на Воротах : “ Неделя предохранения от пожаров ”.

От Ворот широкая дорога идет к Южной Горе и к шинтоиским храмам на ее усеченной вершине ; внизу, вдоль каменного парапета теснятся ряды воровского базара. Отсюда кажется, что под послеполуденным солнцем над каменной кладкой и черепицами Великих Южных Ворот, стропила, орнамент и резьба отливаются коричневым теплом шестивекового дерева. Сейчас Ворота кажутся еще более древними, поднимаясь сурово над удручающей картиной разрушения.

Даже воровской базар казался притихшим и не таким тесным, как обычно. Прежде я просиживал часы на граните парапета, глядя на Ворота и растягивающийся внизу шумный город в различное время дня, то рано утром, то в сумерки, когда с отрогов горы, сквозь густую чащу сосен и японских кленов доносились замечательные голоса практиковавшихся в пении людей, и я думал, что будущие знаменитые тенора Метрополитан Опера появятся из Кореи ! Иногда, сквозь золотую пыль полудня, висевшую низко над черными черепицами Великих Южных Ворот, мне вдруг начинало казаться,

что из за поворота со стороны Пекинской дороги, в сопровождении многих всадников, в богатом наряде венецианского посла и гостя показывался Марко Поло, с жадным любопытством поглощавший все вокруг и подолгу заглядывавший в лица женщин, после пышного великолепия Пекина опять почувствовавший себя как в родном городе!

Здесь, в радиусе одной мили, было место тесно связанное со мной и к которому — втайне в себе — я относился, как к чудесному месту моего возрождения!

Вот там, на углу улицы, против Главной Почты, в картинной галлереи была моя вторая в Сеуле выставка акварелей, изображавших старинные корейские дворцы, ворота, углы городских стен, мосты, горы Кореи. Я видел безконечный поток людей, медленно двигавшихся от картины к картине, изумленных от неожиданного открытия, что так прекрасна их бедная страна и так велико строительное искусство их предков, оставивших после себя величие дворцов и городских ворот!... В том здании, через улицу и ближе к вокзалу, в саду на крыше Гражданского Клуба, не слыша звона и грохота джасса, я спешно писал начало рассказа “Ночное видение Сеула”... На площади, на самой вершине Южной Горы, вблизи темных пятен теней от острых крыш шинтоистских храмов, в лунную июньскую ночь группа корейских актеров и актрис декламировали стихи ; все были приподняты в ту ночь, мы пешком прошли от сеульской радио станции после очередного предста-

вления моей радио-драмы "Четыре брата", которую я писал по английски и которую в корейской передаче разыгрывала эта группа. Чужой среди них, я чувствовал, что они принимали меня как своего по словам, чувствам, мыслям, действиям, что я давал им в драме...

Я смотрел глазами, которые почти не видели сегодняшнего разрушения, на этот сосредоточенный центр, на котором произошло это поразительное перерождение...

На другой день я вышел к отрогам Юнансана и поднялся на гребень первой городской стены. Внизу, под полуденным солнцем, лежал Сеул, притихший, почти неживой. Сквозь золотую листву пирамидальных тополей сквозили здания города. Небо раннего декабря было таким, каким оно бывает только в Корее, и каким я еще нигде его не видел. Было тепло, как бывает только под ласковым солнцем октября. Я поднялся еще выше, чтобы можно было видеть город, и лег на сиреневый камень гранита, кружась взволнованными мыслями над тем, что мне радостно, легко, тяжело и печально в одно и то же время, стараясь уяснить это и найти объяснение. Я знал одно, что то, о чем я думал накануне и в этот день, имело отношение к огромному, захватывающему чувству, которое я никак не мог определить иначе, чем любовью, и я вновь начинал перебирать многие ее разновидности. Я начинал думать о любви к женщинам, о первой и, пожалуй, главной ее форме,

которая приходит сама по себе, когда думаешь о любви, но сразу же отвергал ее, как что то тягостное, требовательное, основанное зачастую на рабовладельческом чувстве собственности ; я знал, что это кажущееся алчным и ненасытимым чувство не имело никакого отношения к тому, что волновало меня в тот час. Я думал о других разновидностях ее, как, например, о любви к родине, к местам рождения, детства и юности, о любви непотерянной, а насильственно прерванной, лишенной живых и целительных истоков, и обретенной вновь, как это бывает редкой участью только очень немногих людей. Я думал о любви к Богу, отделяя Его самого от веры, как первопричинное и перводеятельное от того, что было порождено уже позже, что явилось следствием какого то ущерба, изъяна, какой то кровоточивой раны или пустоты, которую Бог, создав людей, оставил в них для их собственного, самостоятельного, часто мучительного заполнения или исцеления. Я думал о Боге, убеждаясь все более, что Он был выше всего, таинственный, непознаваемый и неощутимый, весь беспредельный Космос, отмеченный только тем олицетворяющим образом и духом, что каждый из нас придавал Ему ; что Он был неизмеримо, не почеловечески выше наших понятий о добрे и зле, радости и горе, о страхе жизни и нашем страхе смерти, и что Ему поэтому не нужна и даже чужда наша земная привязанность и человеческая любовь. От Бога я переходил к мыслям о вере и церкви, связывая последнюю целиком с образом Христа, с ее искренним и горячим упо-

ванием к добру, справедливости, к душевному исцелению и милосердному успокоению, что где то будет лучше, что чей то щедрой рукой отсчитается за всю горечь и боль, за земные слезы и страдания. Я думал об этой любви, которая могла быть так же легко потеряной и обретенной вновь, но уже за счет того, что в ином свете могло бы казаться потерей, но что должно быть непременно в сумерках жизни и у церковных стен. Я вспоминал Откровение и в нем укор ангелу Ефесской церкви; “но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою”, повторяя несколько раз слова и подолгу останавливаясь над их смыслом.

Я доходил до мысли, что все то, что меня тревожило и восторгало в тот час, что наполняло меня чувством по своему радостным и печальным имело отношение к тому, что я не оставил мою первую любовь, что после многих тревожных и горьких лет разлуки и разрыва я вновь, захлебываясь от счастья, вернулся к ней, что она была самой ценной и дорогой, потому что это была любовь к моей “изнуряющей мечте”. Слово “первая” не совсем могло быть верным в общем смысле любви, но было верным в моем случае, так как относилось к ее небыкновенно раннему посещению, к ее первому вдохновляющему образу, к ее таинственному зарождению, затем к неровным годам, в которых казалось, что она отошла от меня, или что я сам, по малодушию, слабости и неверию, оставил ее...

Город внизу лежал ровными пятнами, сквозившимися сквозь золотую листву тополей, и

казался живым и мирно дышащим, но весь вчерашний день говорил, что города почти не было. Это дало мне неожиданный толчок к остро поразившей меня мысли о надгробной плите и воскрешении, не столько о смерти, сколько о перерождении и воскрешении духа.

Возвращаясь опять к моей первой любви, и к тому, что составило причину разлуки и даже тяжелого разрыва, я начинал перебирать свою жизнь, особенно последнюю ее половину, немало лет проведенных в рабочем труде, в "овероле", в борьбе за случайный заработок; дни терпеливого сидения в бюро труда, случайно схваченные работы, на которых не знаешь, сколько продержишься, тяжелые периоды безработицы. Я думал о замкнутом кольце, из которого казалось нельзя было вырваться, и куда нельзя было вселить светлый образ "изнурающей мечты". Затем медленный и трудный выход к газете, тяжелая борьба за ее шаткое существование; я вспоминал о людях, примкнувших к ней позже и чаявших на ее шатких и непрочных лесах надстроить громоздкие замки своего тщеславия...

И вдруг внезапное освобождение, начавшееся длинным воздушным полетом через Тихий Океан, отмеченное первыми минутами феерического видения, когда аэроплан с военной базы пролетал над миллионными огнями ночного Сан Франциско и окрестных городов. Затем, на рассвете следующего дня, приглядываясь сквозь облака, я вдруг заметил изумительнейших оттенков акварельные краски моря, набегающего на песок Га-

ваи, в игре которых отражалась аквамариновая глубина темной воды, затем ее светлая, зелено-голубая, розово-желтая полоса у самого берега, оливково-темный цвет влажного песка... С необыкновенным ликованием я осознал, что я вольный гражданин вселенной, что мир так прекрасен, каким я его никогда не видел! Затем, Гавайи, посадка на аэродроме Хикам Филд, праздничный Гонолулу, пляж Вайкики, пальмы в шелестящем танце бриза. Перед мною был вновь открытый мир, казавшийся огромной и непостижимой величины, непрестававший на-двигаться на меня.

Остров Джонсон, маленькая песчинка на пути между Гаваями и Гуамом, те же изумительные краски моря, набегающего на берег, сказочная игра кораллового дна, сквозившегося сквозь акварельные тона волн; короткая дорожка, что при посадке аэроплана казалось, что он или черпнет крылом воду или перебежит и опрокинется в море... Остров Кваджалейн, куда мы спустились после десяти часов вечера, окунувшись из прохлады восьми тысяч футов в парное удушье тропической ночи, чтобы броситься на первом попавшемся автомобиле в Офицерский Клуб за несколько минут до закрытия в жадном стремлении к холодному сода виски... Гуам на призрачном рассвете дня. Шум в лесу, сразу же за бараками и базовыми квартирами, от множества птиц и обезьян в восторженной симфонии джунглей; полуголые солдаты негры в столовой, обильно истекавшие потом и заправлявшие им сбитую из порошка яичницу и кофе... Опять

взлет в прохладу голубого озона, на восьмитысячную высоту, над поразительным нагромождением облаков и сверкающей поверхностью океана... Ива-джима, последняя посадка перед Японией, где шли жесточайшие бои. Ржавые остовы затонувших судов, голый песчаный остров с несколькими мертвыми стволами дерев, сметенных артиллерийским огнем... Дальше, маленькие вулканические острова — изумруды и смарагды, вделанные в платиновую оправу морской пены... Наконец сама Япония, низкий берег полуострова Шиба, ровные квадраты рисовых полей, огромное пространство Токио, еще не оправившегося от войны и жестоких налетов, еще прижатого в свое пепелище...

Я возвращался к мыслям о том, что дало мне толчок, что встревожило и обрадовало меня, и вспоминал о посадке в Тэгу в надвигавшихся сумерках; о подкове гор, залитых закатным цветом бургундского вина; о том щемящем и восторженном чувстве, захватившем меня внезапно на пустом аэродроме и поставившем лицом к лицу с тем, что я еще никак тогда не мог определить.

Я думал о шести годах между первым полетом в Корею и последним, особенно о первых трех, о том значительном и замечательном отрезе времени, отмеченным тем треугольником, которые я видел внизу сквозь золото тополей. То, что отделяло меня в течение многих лет от “изнуряющей мечты”, что вселяло во мне со-

мения в возможность ее осуществления, отмечалось на том куске города, где я нашел себя, где я опять встретил ее для ее полного и окончательного воплощения...

Я думал об этом с сердцем, преисполненным горячей радостью и благодарностью, возвращаясь к мыслям о любви, к ее различным формам, отделяя те, что были встревожены взмутенным чувством горечи и болью разочарований, и устремляясь только к одной, к моей первой любви, горевшей вновь высоким жаром необыкновенного счастья.

Декабрь 1951
Сеул, Корея

Поступили в продажу
следующие тома
сочинений П. П. Балакшина

- I. ПОВЕСТЬ О САН ФРАНЦИСКО
II. ВЕСНА НАД ФИЛМОРОМ
III. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Готовятся к печати
ПЛАНИРОВЩИКИ
роман
НЕЛЮДИ
и другие пьесы

Во всех книжных магазинах
Зарубежья

ГЛАВНЫЙ СКЛАД ИЗДАНИЙ
ТОВАРИЩЕСТВО
ОБЪЕДИНЕНИИХ ИЗДАТЕЛЕЙ
LES ÉDITEURS RÉUNIS
29, rue Saint Didier, Paris (16), France
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО СИРИУС
Сан Франциско — Париж — Нью Йорк

Книжный склад
Товарищество
Объединенных Издателей
Les Éditeurs Réunis
29, rue Saint-Didier, Paris (16).



БОЛЬШОЙ ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ
И ДОВОЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
И НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ.

НЕПРЕРЫВНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
СКЛАДА АНТИКВАРНЫМИ И
НОВЫМИ КНИГАМИ.



Главное Представительство
Издательства СИРИУС

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
С И Р И У С



Прием заказов на
книги и другие из-
дания. Аккуратное
исполнение. заказов.

Готовится к из-
данию Антология
Русской Поэзии и
другие сборники.



Г л а в н ы й с к л а д и з д а н и й
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н ЫХ И З Д А Т Е Л Е Й
Les Éditeurs Réunis

29, rue Saint-Didier, Paris (16), France

Сан Франциско — Париж — Нью Иорк

Подписывайтесь на
старейшую русскую
газету на Тихоокеанском
побережье Америки

РУССКУЮ ЖИЗНЬ
основанную в 1921 г.

Широкое освещение новостей и местной
жизни. В газете принимают участие извест-
ные писатели и журналисты Русского Зару-
бежья.

THE RUSSIAN LIFE

2458 SUTTER STREET
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

